

СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 8

КОМАНДИР БОМБАРДИРОВЩИКА



Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 8

«Автор»

2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 8 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года. У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин. Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	23
Глава 4	30
Глава 5	38
Глава 6	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 8

Глава 1



Свиридов откидывается на лавке.

— И вы готовы своих под этот список подвести?

— Я его сам и напишу, — говорю я. — Вместе с капитаном Долгих. Если он согласится. Долгих смотрит на меня долго.

— Соглашусь, — говорит он наконец. — Только у меня условие. Пишем не «что должен уметь». Пишем «что должен показать и кому».

— Так и надо.

— И подписывает техник, — вставляет из угла Плешаков, которого сюда никто не звал и который просочился вслед за нами.

Свиридов поворачивается к нему.

— Это ещё зачем?

— Затем, товарищ майор, что ещё на Кагуле от меня требовали готовый борт раньше, чем я закончил мотор, — говорит Плешаков. — Иванов знает. Подпишем поверх проверки — потом исправлять будет некому.

— Это правда? — спрашивает Свиридов у меня.

— Правда.

Свиридов барабанит пальцами ещё секунд десять.

— Ладно, — говорит он. — Неделя. Через неделю смотрю результат. Если у меня молодые за неделю в хорошую погоду ничего не покажут, я всё верну, как было, и вы у меня будете летать по остаточному принципу до весны. Всё.

Мы выходим на мороз.

Гордеев догоняет меня у мастерской, берёт за рукав.

— Иванов.

— Да, товарищ капитан.

— Ты отдал наши часы.

— Отдал.

— Ты понимаешь, что через неделю нам скажут: у вас звено учебное, а вы сами не учитесь?

— Понимаю.

Гордеев смотрит на меня в темноте, и я вижу только очертания его шапки и облачко пара.

— Я улетаю в пятницу, — говорит он. — Мне тут делать нечего, меня ждут. Ты останешься с этим один.

— Знаю.

— Ну смотри. — Он отпускает рукав. — Я, честно сказать, сделал бы по-другому.

— Как?

— Я бы отдал им половину. И выглядел бы разумным человеком, и своих не обидел.

— И через неделю у нас были бы две школы вместо одной, — говорю я. — Ваша и моя, и обе половинчатые.

Гордеев молчит, потом смеётся коротко и невесело.

— Вот из-за этого с тобой тяжело, — говорит он. — Ты всегда объясняешь.

Круглов подходит ко мне утром, до завтрака.

Он островной. Он был на Кагуле с мая, он пережил там всё, что мы пережили, и он старше нынешнего меня и намного моложе того, кем я себя помню. У него узкое злое лицо и привычка, разговаривая, смотреть чуть мимо собеседника.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите вопрос.

— Разрешаю.

— Мы последние?

— По расписанию на неделю — да.

Он молчит, сжав челюсти.

— Говори, что хотел, — говорю я.

— А что говорить. — Он пожимает плечами. — Мы с вами в сентябре с Кагула уходили под бомбами. Мой штурман до сих пор хуже слышит одним ухом; перед перегоним медики отдельно проверяли, разбирает ли команды в шлемофоне. И мы тут первый день, и нас — в хвост, за мальчиками, которые войну по картинкам знают.

— Так.

— Я не отказываюсь, — говорит он быстро. — Я выполню. Я просто хочу понять: это справедливость или это чтобы вы тут понравились.

Вопрос честный, и за него нельзя наказывать.

Я мог бы сейчас объяснить ему всё то же, что объяснял вчера Свиридову. Про сумерки, про то, что человек учится смотреть только тогда, когда есть на что смотреть, про то, что если мы сейчас возьмём себе лучшие часы, то через месяц эти мальчики будут летать в нашем строю и терять ориентировку в дымке, и тогда уже будет неважно, кто справедливый.

Он это выслушает и не поверит.

— Круглов, — говорю я. — Отложим этот спор до разбора.

— До какого разбора?

— До вечернего, в пятницу. Придёшь и скажешь то же самое при всех, при местных тоже.

И я отвечу при всех. А сейчас — пойдём, у меня к тебе дело.

— Какое?

— Ты сегодня со мной готовишь чужого новичка.

Он смотрит на меня, теперь уже прямо.

— Я?

— Ты. Хомякова и его штурмана. Ты этот маршрут знаешь лучше, чем они, потому что ты вчера над ним прошёл, а они по нему ходили в сумерках и толком не видели.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Круглов, — это подло.

— Почему?

— Потому что теперь я не могу ругаться.

— Можешь, — говорю я. — В пятницу. При всех.

Хомяков оказывается высоким, круглолицым, с непроходящим румянцем на щеках, лет двадцати одного. Штурман у него — младший лейтенант Гнеденко, худой, тихий, в очках, которые он снимает, когда волнуется, и тогда у него делается беспомощное лицо.

Мы сидим в штабной избе над картой: я, Круглов, Хомяков и Гнеденко. За окном рассвет — то есть серая муть, которая чуть светлее ночной.

Упражнение простое: выход на дальний ориентир, площадка, возврат.

— Показывайте расчёт, — говорю я Гнеденко.

Он раскладывает свой листок. Почерк у него мелкий, аккуратный, и всё разграфлено.

Я читаю и на третьей строчке спотыкаюсь.

Смотрю ещё раз. Не показалось.

Круглов тоже видит — я по лицу вижу, что видит, — и открывает рот. Я коротко качаю головой.

— Гнеденко, — говорю я. — Прочтите вслух обратный курс и как вы его получили.

— Обратный... — Он поправляет очки. — Прямой сто двадцать четыре, обратный триста четыре. Поправка на ветер два градуса.

— В какую сторону?

— Влево.

— На пути туда вы брали поправку в какую сторону?

— Тоже влево. — Он моргает. — Ветер же не меняется.

Круглов издаёт звук.

— Ветер не меняется, — соглашаюсь я. — А вы — меняетесь. Вы летите в другую сторону. Снос вас сносит в ту же сторону света, а относительно вашего носа он теперь с другого борта.

Гнеденко смотрит на листок. Снимает очки. Надевает обратно.

— Я... — говорит он.

И замолкает, потому что у него в эту секунду в голове происходит то, что у человека происходит раз или два за всё обучение: он видит собственную ошибку целиком, со всеми её последствиями.

— На сколько бы вас унесло? — спрашивает Круглов.

Гнеденко считает. Губы шевелятся.

— На семь километров, — говорит он совсем тихо. — Вправо.

— За семь километров вправо, — говорит Круглов, — там у них торфяные выработки, а за ними, если дальше, уже ни черта нет до самой воды.

Хомяков смотрит то на своего штурмана, то на нас. У него на лице написано ожидание крика.

Крика не будет. Вернее, будет, но не сейчас и не такой.

Я поворачиваю карту так, чтобы Гнеденко видел обе линии сразу.

— Этот расчёт вас домой не приведёт. Сегодня полёт отменяем, сначала пересчитаем оба плеча.

— Товарищ старший лейтенант! — Хомяков вскидывается. — Мы же сегодня в лучшее время! Нам же первый раз дали!

Вот оно.

Я знал, что это будет, но не знал, что так быстро и так в лоб. Мальчику вчера объявили, что теперь хорошие часы — молодым, и он всю ночь не спал, и он сейчас держится за это, как за подарок.

— Хомяков. Слушай меня внимательно. Вам дали не подарок. Вам дали очередь. Очередь — это не значит, что вас выпустят. Это значит, что вас выпустят, когда вы будете готовы, и в хорошую погоду, а не когда останется время.

— Мы готовы!

— Ваш штурман ошибся в обратном курсе на четыре градуса.

— Я исправлю, — говорит Гнеденко.

— Правильно. Исправишь. — Я разворачиваю карту к нему. — Прямо сейчас. Считаешь заново, весь маршрут, оба плеча. Круглов проверяет. Потом ты объясняешь Хомякову, где ошибся, своими словами, чтобы он тоже понял. Потом идёте на предполётную с этим расчётом, и если всё сойдётся — летите завтра. Завтра тоже хорошее время, оно за вами.

— А сегодня?

— А сегодня ваш час возьмёт Лапин.

Хомяков открывает рот, закрывает, и на лице у него делается такое выражение, что мне на секунду становится его жалко.

— Хомяков.

— Я.

— Я знаю, что ты думаешь. Ты думаешь, что тебе дали и тут же отняли, и что приезжие устроили это нарочно, чтобы показать, что мы тут не годимся.

Он краснеет так, что видно даже при керосиновой лампе.

— Так вот, — говорю я. — Если бы я хотел показать, что вы не годитесь, я бы вас выпустил.

Я говорю это спокойно, без нажима, и вижу, как до него доходит.

Круглов потом, уже на улице, закуривает и говорит мне в спину:

— Товарищ старший лейтенант.

— Да.

— Вы это в пятницу повторите? Про то, что если бы хотели показать — выпустили бы?

— Повторю.

— Тогда я, пожалуй, в пятницу ругаться не буду, — говорит он и уходит к машинам.

Погода портится в четверг.

Она портится ровно тогда, когда до нашего остатка доходит очередь: молодые отлетали своё до половины первого, и в час, когда мы должны выкатываться, кромка садится до двухсот и начинает идти мокрый снег.

Я стою у полосы с Долгих и смотрю на север, откуда это всё ползёт.

— Отменяйте, — говорит Долгих.

— Погодите.

— Иванов, тут не Эзель. Тут торф, тут дымка над выработками стоит даже в мороз, а сейчас пойдёт снег.

— Я знаю. Я не собираюсь ходить по маршруту.

— А что вы собираетесь?

— Сокращённый, по кругу над полем, с уходом до дальнего ориентира и обратно. Двадцать минут. С правом прекратить на любом этапе.

Долгих смотрит на меня, прищурившись.

— Вы это для кого делаете?

— Для себя.

— Не врите.

— Ладно, — говорю я. — Не только для себя.

Он молчит, потом кивает.

— Свиридов сейчас на КП. Он смотрит.

— Знаю, что смотрит.

Вот это и есть неприятная часть уступки, о которой не говорят в благородных речах. Ты отдал лучшие часы. Ты остался с остатком. И теперь у тебя два способа опозориться: не полететь вовсе — «а, значит, вам можно только в хорошую погоду» — или полететь с надрывом, показать характер, и, если повезёт, вернуться, а если не повезёт, доказать, что приезжие с Эзеля — лихачи, которым нельзя доверять чужих мальчиков.

И есть третий способ, скучный. Слетать ровно то, что разрешено, вернуться и привезти пользу.

Долгих докладывает изменённое упражнение на КП и получает разрешение. До выработки не идём: держимся над полем и вдоль южной ветки, где земля видна непрерывно. Если снег закроет ориентир или кромка прижмёт к нашей высоте — прекращаем. Названные условия записывают, и я повторяю их экипажу.

Тринадцатый идёт по кругу на ста пятидесяти метрах.

Мокрый снег лепит в стекло, дворники не справляются, и мир сужается до полосы земли под левым крылом. Литвинов ведёт по своему счислению и по железнодорожной ветке, которая здесь идёт удобно.

— Кромка? — спрашиваю я.

— Сто восемьдесят над полем. — Он смотрит вниз. — Над выработками ниже.

— Насколько?

— Сейчас... — Литвинов сверяет высотомер с тем, что видит сбоку. — Метров сто двадцать, местами, может, сто. Над выработками пар смешивается со снегом, ровной кромки не разберёшь.

— Запиши точно: где начинается понижение, где заканчивается.

— Пишу.

Мы идём до дальнего ориентира — водокачки у разъезда, — разворачиваемся и идём обратно. Всё упражнение занимает двадцать две минуты. Никакого геройства в нём нет вообще: это скучный полёт на малой высоте с постоянной готовностью прекратить и сесть.

Единственное, что в нём есть, — это цифры, которые Литвинов кладёт на бумагу.

Мы садимся, и я иду на КП прямо в мокром реглане.

Свиридов там. И Долгих там. И ещё двое, которых я не знаю.

— Разрешите доложить. Сокращённое упражнение выполнено, двадцать две минуты, прекращений не было. — Я кладу на стол листок Литвинова. — Наблюдения по нижней кромке.

Свиридов берёт листок.

— Это что?

— Кромка по участкам. Над полем сто восемьдесят. Над торфяными выработками сто двадцать и ниже, там от воды парит и смешивается со снегом. Над лесом к югу — двести сорок, там чище. И ещё: между третьим и четвёртым разъездом кромка рваная, верх кромки поднимается до трёхсот, а между просветами снег снова закрывает землю.

Свиридов читает.

Он читает молча, и я вижу, как у него меняется лицо: сначала он ждал рапорта о подвиге, потом понял, что это не рапорт.

— Дуняшин через сорок минут идёт по тому же остатку, — говорит он наконец.

— Я знаю. Поэтому и принёс сейчас, а не вечером.

— Ковалевский! — кричит Свиридов в соседнюю комнату. — Дуняшина ко мне.

Дуняшин приходит через минуту — плотный, лысеющий, с полотенцем на шее, явно из умывалки. Свиридов молча суёт ему листок.

Дуняшин читает. Потом смотрит на меня.

— Над выработками сто двадцать? — переспрашивает он.

— И ниже местами.

— Вы в кромку входили?

— Нет. Видели сбоку с высоты ста пятидесяти. Низ рваный, поэтому пишем предел, а не точную цифру.

Дуняшин проводит пальцем вдоль линии выработок.

— Я там собирался разворачиваться.

— Я бы разворачивался южнее, над лесом. Там двести сорок и ровнее.

Дуняшин ещё раз смотрит в листок.

— Спасибо, — говорит он коротко и уходит одеваться.

Свиридов провожает его взглядом и поворачивается ко мне.

— Иванов.

— Я.

— Вы это специально?

— Что именно?

— Это. — Он щёлкает ногтем по листку, который Дуняшин оставил на столе. — Прилететь и привезти бумажку.

— Товарищ майор, — говорю я, — я слетал двадцать две минуты по кругу в снегопад. Хвалиться там нечем. Единственное, что я мог оттуда привезти, — вот это. Не привезти было бы глупо.

Свиридов смотрит на меня довольно долго.

— Идите сушиться, — говорит он.

Гордеев улетает в пятницу утром, попутным бортом.

Провожать его выходим втроём: я, Зорин и Круглов. Больше некому — все на предполётной.

Он стоит у чужой машины, в которой ему лететь пассажиром, с вещмешком у ноги, и у него вид человека, которому неловко.

— Ну, — говорит он.

— Ну, — говорю я.

— Ты тут не увлекайся.

— Постараюсь.

— Ты всегда стараешься. — Он поднимает мешок и перекидывает через плечо. — Слушай, Иванов. Я тебе одну вещь скажу, а ты не обижайся.

— Говорите.

— Я к тебе три месяца привыкал. — Он смотрит куда-то за полосу. — Сперва я думал, что ты выскочка. Потом — что ты человек с придурью, но полезный. А когда ты в сентябре с Кагула последних прикрыл, я понял, что ты просто другой породы, и что я тебя не переделаю.

— Товарищ капитан...

— Дай сказать. — Он поправляет ремень. — Тут у тебя Свиридов. Он мужик неплохой, я с ним вчера полночи сидел. Но у него своя часть, свои люди и свои покойники. Он тебя будет мерить не тем, что ты сделал на Эзеле. Он тебя будет мерить тем, что ты сделал у него во вторник.

— Знаю.

— Знаешь, — соглашается Гордеев. — Ну и всё тогда.

Мы жмём руки. У него ладонь сухая и очень твёрдая.

Он лезет в машину, неловко, цепляясь мешком, и кто-то изнутри принимает у него вещи, и дверь закрывается, и через десять минут он уходит на юго-восток и становится точкой.

Круглов стоит рядом и смотрит вслед.

— Всё, — говорит он. — Теперь мы совсем приезжие.

Разбор в пятницу вечером собирает человек пятнадцать.

Он не про полёты — он обычный, недельный: что сделано, что не сделано, что переносится. Я веду его вместе с Долгих, и половина времени уходит на скучное: расписание, погода, кто с кем летит на следующей неделе.

И в конце, когда я уже говорю «вопросы», встаёт Круглов.

Он встаёт основательно, не торопясь, и поворачивается так, чтобы видеть не меня, а всех.

Я успеваю подумать: всё-таки будет.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите не вопрос, а сказать.

— Говорите.

— Я в понедельник к вам приходил. — Он говорит громко и ровно, и в землянке становится тихо. — Я приходил недовольный. Я сказал, что нас, островных, поставили последними, за мальчиками, которые войну по картинкам знают. Вы мне тогда сказали отложить до разбора. Вот разбор.

Хомяков на второй лавке краснеет и опускает голову. Лапин смотрит прямо.

— Продолжайте, — говорю я.

— Я своё мнение не поменял наполовину, — говорит Круглов. — Я до сих пор считаю, что нас надо было пускать хотя бы через одного, а не в хвост. У меня штурман с Кагула хуже слышит одним ухом, и он летает по допуску, и ему тоже надо тренироваться, а не только смотреть, как тренируются другие.

Кто-то из наших гудит одобрительно.

— Это первое. — Круглов поднимает палец. — Второе. В понедельник я пошёл с вами готовить Хомякова, и мне это очень не нравилось, и я вам сказал, что это подлю.

— Сказал, — подтверждаю я.

— Ну так вот, при всех: я был неправ.

В землянке делается совсем тихо.

— Их штурман считал обратный курс с той же поправкой, что и прямой, — говорит Круглов. — Его бы унесло на семь километров за выработки, а там до самой воды ничего нет. Если бы их выпустили в сумерки, как раньше выпускали, они бы, скорее всего, вернулись, потому что везёт. А потом ещё раз. А на третий не вернулись бы.

Он поворачивается к Хомякову.

— Ты не красней. Я в сорок первом году, в июне, точно так же считал.

Хомяков поднимает голову.

— Так вот, — заканчивает Круглов, — насчёт очереди я остаюсь при своём и буду ворчать. А насчёт того, кто чего стоит, — я забираю обратно. Всё.

Он садится.

Теперь моя очередь, и я знаю, что сейчас надо сказать что-нибудь короткое, иначе всё испортится.

— Круглов прав в том, что ворчать будет, — говорю я. — И пусть ворчит, потому что очередь действительно несправедлива к нашим, и я это знаю. Я вам её объясню один раз, и больше к этому не возвращаемся.

Пятнадцать человек смотрят на меня.

— На этом аэродроме двадцать шесть лётчиков, — говорю я. — Из них шесть уверенно работают в сложной погоде в пределах допуска. Остальные двадцать умеют терпеть плохую. Это не их вина, это результат расписания, по которому им полгода давали то, что осталось.

Если мы это расписание не ломаем сейчас, зимой, то весной нам придётся идти на задание всем вместе, и шестеро вернутся, а двадцать будут искать аэродром в дымке.

Я смотрю на Хомякова.

— Я отдал часы не потому, что вы молодые и вас жалко. Мне вас не жалко. Я отдал часы потому, что мне через месяц с вами лететь.

— А ваши? — спрашивает кто-то из местных, с задней лавки.

— А мои полетают в остаток и не развалятся, — говорю я. — У Круглова четыреста часов. Он и в кашу сходит, и вернётся, и привезёт данные, которыми вы потом воспользуетесь. У вас таких часов нет. Значит, вам — свет, ему — остаток. Через полгода будет наоборот, и он это знает, поэтому и ворчит, а не пишет рапорт.

Круглов с места:

— Я, между прочим, ещё не решил насчёт рапорта.

Смеются все. Смех получается общий — не «наши» и «местные», а именно общий, и это первый раз за неделю, когда я его слышу.

Долгих наклоняется ко мне и говорит вполголоса:

— Иванов, а вы это заранее с ним договорились?

— Нет.

— Точно нет?

— Точно. Я его в понедельник просил прийти и ругаться. Он пришёл и наполовину поругался.

Долгих хмыкает.

— Половина ругани, половина повинной. Вы везучий человек.

— Я не везучий, — говорю я. — Я просто попросил при свидетелях.

Разбор Зорина назначен на субботу.

Я его не готовлю. Специально не готовлю: он сам предложил провести занятие по морскому поиску, и я сказал «проводи», и больше не вмешивался, хотя очень хотелось.

Приходят человек двадцать. Половина — местные, включая Хомякова с Гнеденко и всех молодых; половина — наши и техники, которым интересно. Сидят на лавках, на ящиках, на полу у стены. Топится печка, и от мокрых валенок идёт пар.

Зорин стоит у доски — не у настоящей, у куска фанеры, прибитого к стене.

— Октябрь, — говорит он. — Финский залив, ночь, поиск конвоя.

— Это где вы транспорт положили? — спрашивает кто-то с задней лавки.

— Это где мы транспорт положили, — соглашается Зорин.

— Вот про это и расскажи!

Пауза. Я сижу сбоку и вижу его лицо в профиль. У него сейчас ровно секунда, чтобы решить, кем он сегодня будет: гостем, который рассказывает про атаку, или человеком, который работает.

— Про атаку я расскажу в конце, за пять минут, — говорит Зорин. — Там нечего разбирать. Мы зашли, положили, ушли. Интересное было раньше.

— Чего ж интересного, если не попали? — спрашивает тот же голос.

— Интересно то, что мы чуть не повернули домой, — говорит Зорин.

В землянке становится тише.

Он берёт мел.

— Вот берег. Вот три поста наблюдения. Ночью они слышат гул судовых машин и дают время. А здесь — теснина, до которой я сперва не хотел доходить.

Он рисует. Рисует он плохо, кривовато, но понятно.

— Сначала мне попался одиночный транспорт, слишком ранний. Я запросил сброс, получил запрет, обиделся. Потом прошёл почти всю свою ветвь и запросил обратный проход. Посмотрите, что при этом осталось бы пустым.

С лавки поднимается рука. Это Лапин — молодой, из местных.

— Товарищ лейтенант, можно к карте?

Зорин отдаёт ему указку и отходит в сторону.

Лапин подходит к фанере и стоит перед ней, наверное, полминуты.

— А тут проход. Между островом и этим мысом. Если вы повернули раньше, суда могли бы пройти здесь за вашей спиной.

— Могли, — говорит Зорин. — Командир потребовал закончить полосу. Я дошёл, назначил рубеж и вернулся. И там тоже оказалось пусто.

— Тогда зачем? — спрашивает Ковалевский из угла.

— Затем, что больше туда не посылали резерв. Мы знали, что именно проверили. Когда пришёл новый гул с берега, нам оставалось искать в другом месте, а не начинать всё заново.

Зорин возвращается к фанере, наносит три отсчёта. У «Камня» оставляет обе цифры.

Глава 2



— Тут приняли время записи за время наблюдения. Тимка запросил, Аркадий поправил. До расхода бомб, ещё в воздухе. И всё равно точки цели у нас не было — была полоса, которую надо осмотреть.

— А ход по этим временам не вычислить? — спрашивает Лапин.

— Точно — нет, — отвечаю я со своего ящика. — Не знаем, с какой дальности каждый услышал. Ветер разный, часы разные. Берём вероятный ход и смотрим, где при нём искать. Потом проверяем глазами.

Лапин переставляет указку от постов к проходу.

— Значит, и эту мою догадку пришлось бы проверять?

— Именно, — говорит Зорин. — Ты нашёл оставшийся участок. А я тогда хотел бросить его, потому что устал видеть одну воду. Вот и вся моя красивая история до атаки.

Он поворачивается к слушателям.

— Теперь берём ваш квадрат. Какие места останутся непроверенными, если ведущий повернёт здесь?

Разбор длится ещё час.

И где-то на середине этого часа происходит незаметная вещь, которую замечаю, кажется, только я и, может быть, Долгих.

Люди перестают спрашивать Зорина «а как было у вас» и начинают спрашивать «а если бы у нас».

К нему подходят после занятия трое. Двое местных и один наш. Ни один не просит рассказать про атаку.

— Товарищ лейтенант, а можно с вами по нашему квадрату посчитать? У нас тут озеро, и над ним всегда каша...

Зорин садится с ними у печки, и я ухожу, потому что моё присутствие им сейчас только мешает.

За стеной мастерской в это время идёт своя война.

Я прихожу туда через час и застаю картину: Плешаков стоит посреди прохода, красный, в расстёгнутом ватнике, а напротив него — местный старшина, кладовщик, фамилия Барабаш, маленький, кривоногий, в очках с одним заклеенным стеклом.

Между ними на верстаке лежит маслорадиатор.

— Не дам, — говорит Барабаш.

— Он мне не нужен! — орёт Плешаков. — Я тебе его отдаю!

— Не возьму.

— Почему?!

— Потому что потом ты придёшь и скажешь: верни.

Я останавливаюсь в дверях и слушаю минуты две, потому что это интереснее любого разбора.

Суть выясняется быстро.

У местных есть машина — девятка, — у которой течёт маслорадиатор. Радиатор надо менять, менять нечем, и девятка стоит третью неделю. У Плешакова в ящиках, которые наконец пришли машинами позавчера, лежат два запасных маслорадиатора, привезённых ещё с Кагула.

Плешаков предлагает отдать.

Барабаш не берёт.

— Товарищ старшина, — говорю я, входя. — Объясните мне, почему вы отказываетесь от детали, которую вам дают.

Барабаш поворачивается. Заклеенное стекло делает его лицо перекошенным.

— А вы кто?

— Иванов.

— А. — Он поправляет очки. — Ну слушайте, товарищ старший лейтенант. В сентябре тут стояли гости. Тоже дальники, тоже с моря. У них помпа была лишняя, они мне её дали, я её поставил. А через восемь дней они улетали и забрали обратно. Со своей машины сняли, которую чинили, а мою помпу вернули себе. По-честному, между прочим: их помпа, их право.

— И что?

— И то, что моя девятка встала во второй раз и стояла ещё две недели, потому что я на неё уже другого не искал. Я же думал, у меня есть.

Плешаков открывает рот.

— Василий Фомич, помолчи, — говорю я. — Товарищ старшина, продолжайте.

— А чего продолжать. — Барабаш пожимает плечами. — Если я беру у чужих, я должен знать, что это моё насовсем. Иначе мне лучше стоять и искать, чем стоять и надеяться.

Логика железная.

— Василий Фомич, — говорю я. — Что ты ему предлагал?

— Отдать радиатор.

— На каких условиях?

— Ни на каких! Просто отдать!

— И он тебе не верит, потому что «просто отдать» — это слова.

Плешаков набирает воздуха, и я вижу, что сейчас он скажет что-нибудь про честь, и я торопливо перебиваю:

— Барабаш. Есть другой способ. Общий учёт.

— Это как?

— Заводим одну книгу. Не вашу и не нашу — общую. Туда пишется всё, что есть: и ваше, и наше. Каждая позиция — с фамилией того, кто отвечает, и с отметкой, куда ушла. Дальше правило: деталь идёт не тому, кто её привёз, а тому, чья машина ближе к вылету.

Барабаш молчит и думает. Это видно: он думает всерьёз, перебирая, где здесь подвох.

— А если ваша машина ближе к вылету? — спрашивает он наконец.

— Тогда деталь идёт нам, и вы будете злиться.

— Обязательно, — обещает он.

— А если ближе ваша — идёт вам, и злиться будет Плешаков.

— Я не буду злиться, — говорит Плешаков с достоинством.

— Будешь.

— Буду, — соглашается он.

Барабаш снимает очки, протирает единственное прозрачное стекло полый ватника и надевает обратно.

— Кто первый пишет? — спрашивает он.

И вот здесь Плешаков делает то, за что я ему потом, вечером, налью из своих личных запасов.

Он разворачивается, лезет в свой ящик, достаёт оттуда засаленную тетрадь — свою собственную, которую он вёл с Кагула и никому не показывал, — и кладёт на верстак.

— Вот, — говорит он. — Всё, что у меня есть. Двадцать две позиции. Переписывай в общую, с моей фамилией.

Барабаш берёт тетрадь и открывает.

Читает.

Лицо у него постепенно меняется.

— У вас два радиатора, — говорит он.

— Теперь у меня останется один.

Барабаш проверяет заглушки на лежащем перед ним узле, потом снова смотрит в тетрадь.

— Один я сейчас отдам тебе, — говорит Плешаков. — Пиши: «выдан девятке». Второй пиши как мой запас, и если он тебе понадобится раньше, чем мне, — заберёшь по правилу.

Барабаш смотрит на него секунд пять.

— Ну, — говорит он. — Тогда давайте книгу заводить.

Через два дня правило впервые бьёт по нам.

У тринадцатого на предполётной Плешаков находит подтекание на левом моторе — не страшное, но требующее замены соединения. Сама замена — полдня, но другое соединение обещают подвезти только завтра к вечеру. А на завтрашнее утро назначен наш маршрутный полёт, единственный за неделю.

А соединение — единственное на складе, и его час назад Барабаш выдал на машину Дуняшина, которая идёт завтра на боевое.

Плешаков приходит ко мне чёрный.

— Пал Сергеич, он отдал.

— По правилу?

— По правилу! — рывкает Плешаков. — Дуняшин завтра на боевое, мы завтра на учебный. Он по правилу и отдал. — Он переводит дух. — Только это же наше соединение. Мы его привезли.

— Уже не наше. Оно в общей книге.

— Пал Сергеич.

— Василий Фомич.

Мы стоим друг против друга посреди мастерской, и вокруг нас человек шесть делают вид, что заняты работой, а на самом деле слушают. Барабаш стоит в дверях и тоже слушает, и по его лицу совершенно невозможно понять, о чём он думает.

— Ты хочешь, чтобы я пошёл к Свиридову и отменил выдачу, — говорю я.

— Я хочу, чтобы наш борт летал.

— Наш борт полетит послезавтра.

— А занятие?

— А занятие перенесём.

Плешаков молчит, глядя в пол.

— Первая же неделя, — говорит он тихо. — Первая же неделя, и мы уже без своего.

— Да, — говорю я. — И именно это они и запомнят.

Он поднимает голову.

— Что запомнят?

— Не то, что мы отдали радиатор чужим. Радиатор — это широкий жест, его любой сделает. Запомнят, что мы остались без своего и не пошли жаловаться.

Плешаков смотрит на меня ещё секунду, потом плюёт в сторону и идёт к верстаку.

— Барабаш! — орёт он от верстака. — Иди сюда, будем твою девятку добивать, раз уж я сегодня свободен как ветер!

Барабаш, не меня выражения лица, идёт к нему.

Тревога приходит в среду, в одиннадцать двадцать.

Никаких предвестий — обычное утро, машины готовятся, у полосы стоят двое молодых с Долгих, идёт предполётная.

И вдруг с наблюдательной вышки бьёт рельс.

Дальше начинается то, что на любом аэродроме мира выглядит одинаково: люди бегут, кричат, заводятся моторы, и в этой каше всё зависит от того, что было сделано за неделю до.

А сделано было вот что: в понедельник мы с Долгих и Плешаковым расписали схему рассредоточения. Не потому, что ждали налёта именно сейчас, а потому, что схемы не было вообще — точнее, была местная, но в ней не значились наши три машины, а нас поставили на дальние обваловки, за горловину.

За ту самую горловину между торфяными выработками. На десятиметровой дорожке двум тягачам не разойтись, а по краям крылья почти достают до валов.

Я выбегаю из мастерской и первое, что вижу, — тягач, который тащит машину Круглова к горловине.

И второе, что вижу: с другой стороны, от местных стоянок, к той же горловине идёт девятка. Своим ходом, на моторе. Та самая, которую позавчера доделали.

Они сходятся. Метров через сорок они сойдутся носами в проезде, куда не влезут два крыла.

— Стой! — ору я.

Меня никто не слышит. В рёве моторов не слышно ничего.

Я бегу наперерез тягачу.

На скользком насте я едва не падаю, выравниваюсь и вижу, как ко мне поворачивается лицо тракториста — молодого парня в шлеме, который держится за рычаги и смотрит только вперёд.

Я выскакиваю перед тягачом и поднимаю обе руки.

Он тормозит. Тягач ведёт юзом по снегу, и машина Круглова за ним тяжело качается на буксире.

— Стой! Стой, стой!

Он глушит. В наступившей относительной тишине я слышу, как ревёт девятка с той стороны.

— Товарищ старший лейтенант, у меня приказ на дальнюю обваловку!

— Знаю. Стой здесь. — Я оборачиваюсь, ища глазами. — Журавлёв!

Тимка появляется откуда-то сбоку, без шапки.

— Беги к девятке сбоку, не под винты! Останови знаком и покажи южный обход. Горловина занята, им своим ходом быстрее кругом!

— Есть!

Он бежит. Я остаюсь у тягача, показываю трактористу держать тормоза, а подошедшим мотористам — проверить буксир. Оглядываюсь: Тимка перед левой консолью, в стороне от винта, поднимает руки крестом. Девятка останавливается. Он указывает на просеку и сам отбегает к её входу, показывая свободный путь.

Назад самолёт не подашь; пилоту хватает расчищенного пяточка для широкого разворота. Девятка медленно описывает дугу и уходит южнее, вдоль просеки.

— Пошёл! — кричу я трактористу, и он заводит.

В горловине мы оказываемся вдвоём с Плешаковым — он прибежал с другой стороны, — и здесь выясняется вторая беда: обваловок за горловиной три, а машин, которые туда идут, четыре.

— Куда четвёртую? — кричит Плешаков.

— В лес, на просеку, носом к выходу!

— Там не развернётся потом!

— Значит, будем разворачивать руками! Веди!

Проходит машина Круглова. За ней второй тягач ведёт местную машину. Между крыльями и стенкой выработки — метра полтора, и Плешаков идёт у консоли, положив на неё ладонь, и орёт трактористу цифры, которые тот всё равно не слышит, но видит его руку.

Третья машина — тринадцатый.

Первый тягач, оставив Круглова в обваловке, возвращается пустым по южному обходу и берёт наш борт. У горловины он забирает чуть правее, и левая консоль идёт прямо на мёрзлый вал.

— Стой!! — орёт Плешаков.

Тягач встаёт.

До вала — сантиметров тридцать.

Плешаков стоит, обняв консоль, как обнимают лошадь за шею, и тяжело дышит.

— По одному, — говорит он мне, отдышавшись. — Пал Сергеич, категорически. Пока одна не вышла, вторая в горловину не входит. Я тут встану и буду стоять.

— Вставай.

Он встаёт. И стоит следующие двенадцать минут, посреди узкого прохода, размахивая рукавицей, — и ни одна машина не входит в горловину, пока предыдущая не выйдет.

Последним идёт Зорин.

Он не ждёт тягача. У него машина заправлена и готова к вылету, и он просто заводит и выруливает сам, через южную просеку, вслед за девяткой, и ставит её в дальний угол под деревья.

Самолёты в воздухе проходят севернее.

Проходят и уходят. Два, на большой высоте, и, судя по всему, вообще не по нашу душу — просто маршрут пролегал над нами.

Отбой дают в двенадцать ноль пять.

Люди вылезают, отряхиваются, закуривают, и над полем стоит тот особый весёлый гул, который бывает после несостоявшейся беды.

Свиридов стоит у КП. Он всё видел.

— Иванов.

— Я.

— Двадцать минут. — Он смотрит на часы. — Пятнадцать машин, рассредоточены за двадцать минут, без единой поломки. У меня в октябре на это уходило сорок, и мы два раза цеплялись.

— Товарищ майор...

— Погодите, дайте похвалить, — говорит он. — Это редко бывает.

И вот тут я делаю вещь, которая мне самому не нравится, но не сделать её нельзя.

— Товарищ майор, не всё в порядке.

Свиридов смотрит на меня.

— Что?

— Расчёт на северной точке не получил сигнала.

— Какой расчёт?

— Пулемётный, у дальних выработок. Четыре человека. Они сидели и ничего не знали до тех пор, пока не услышали моторы. То есть до конца.

Свиридов оборачивается к Долгих.

— Это правда?

Долгих молчит.

— Я у них был, — говорю я. — Три минуты назад, когда шёл сюда. Мне их старший сказал: «мы услышали, как всё забегало». У них нет ни телефона, ни звонка, ни ракеты. К ним посылают посыльного, а посыльный в среду был в санчасти с нарывом.

Свиридов очень медленно достаёт папиросы.

— И что вы предлагаете?

— Три вещи, все дешёвые. Первое — провод. Двести метров кабеля, он есть в общей книге, я смотрел. Второе — ракета дублирующая, красная, по которой они занимают боевые места, если провод перебит. Третье — их старшего включить в расчёт рассредоточения, чтобы он знал схему и заранее проверил, не перекроют ли перемещаемые машины сектор огня.

Долгих поднимает голову.

— У нас кабель на связь с КП полосы, — говорит он. — Если мы его отдадим...

— Полосу без телефона не оставим, — говорю я. — В книге лежит ещё снятый провод, ремонтный. Его можно прозвонить, выбрать целые куски и срастить на эти двести метров. Пока связисты тянут, назначим к расчёту сменного посыльного и проверим, видят ли оттуда дублирующую ракету.

Свиридов закуривает и долго смотрит на дальний край поля, где за белыми прямоугольниками выработок торчат кусты и где сидят четверо, которые сегодня узнали о тревоге последними.

— Долгих, — говорит он. — Сделайте.

— Есть.

— Сегодня.

— Есть сегодня.

Свиридов поворачивается ко мне.

— Иванов, а вам не жалко?

— Чего?

— Такой был рапорт, — говорит он почти мечтательно. — Двадцать минут, пятнадцать машин. Я бы наверх доложил, меня бы похвалили.

— Доложите, — говорю я. — Только допишите про расчёт. Тогда вас похвалят один раз, а не похвалят и через месяц спросят.

Он смеётся — коротко, невесело — и уходит в землянку.

Вечером меня вызывают в штабную избу.

Там уже сидят Долгих, Ковалевский и ещё двое. Печь натоплена так, что от шинелей идёт пар. На столе — тот же лист с расписанием, и я вижу, что он переписан заново: фамилии перемешаны, и в лучших часах теперь стоят и Хомяков, и Лапин, и наш Круглов, и Гнеденко.

Свиридов сидит с бумагой в руках.

— Иванов. Испытательная неделя прошла. Уже и вторая началась.

— Так точно.

— Подводим итог. — Он смотрит в бумагу. — Молодые за неделю: одиннадцать назначенных вылетов в лучшее время, из них два отменены по неготовности, оба ваши отмены. Гнеденко пересчитал маршрут и слетал на следующий день без замечаний. Лапин на разборе разобрал чужую задачу лучше, чем я. Ваши экипажи: четыре сокращённых упражнения в остаточную погоду, все выполнены, плюс данные по нижней кромке, которыми Дуняшин пользовался дважды.

Он кладёт бумагу.

— Теперь скажите мне честно. Вы это всё придумали, чтобы к нам влезть?

Вопрос прямой, и врать на него нельзя.

— Частично, — говорю я.

Долгих поднимает брови.

— То есть?

— Товарищ майор, я прилетел сюда со звеном, которому приказано учить. Учить я мог только двумя способами: либо отгородиться со своими тремя экипажами и делать свою маленькую школу в углу — и тогда через месяц у вас была бы одна школа ваша и одна моя, и обе неполные. Либо влезть. Я выбрал влезть. Так что да, я к вам влезал, и делал это сознательно.

— А часы?

— А часы — не поэтому. — Я смотрю на него. — Часы я отдал, потому что увидел ваш график и понял, что если оставить как есть, то к весне у вас будет шесть человек, которые умеют летать, и двадцать, которые умеют терпеть. И тогда учить будет уже некого.

В избе тихо. Потрескивает печка.

— Ковалевский, — говорит Свиридов. — Ты чего молчишь?

Ковалевский — тот самый, из угла, лет тридцати, с рябым лицом.

— А я не молчу, — говорит он. — Я думаю.

— О чём?

— О том, что я в сентябре Хомякова три раза в сумерки выпускал и считал, что делаю ему добро. — Он трёт лицо ладонью. — Потому что жалел его на трудное упражнение.

— Вот, — говорит Свиридов.

Он берёт со стола другую бумагу.

— Иванов. У меня приказ по части. Читаю: назначить старшего лейтенанта Иванова заместителем командира эскадрильи капитана Долгих по лётной подготовке. С сего числа.

Я стою.

Это не должность командира. Это не звание — звание у меня остаётся то же, какое было в августе, и, судя по всему, останется ещё долго. Это даже не власть в обычном смысле: у меня не появляется людей, которыми я командую напрямую.

У меня появляется другое: подпись.

С завтрашнего утра под каждым допуском к самостоятельному полёту в этой эскадрилье будет стоять моя фамилия, и если через месяц кто-нибудь из этих мальчиков не вернётся из-за того, что мы его выпустили рано, — это будет мой почерк на бумаге.

— Служу Советскому Союзу, — говорю я.

— Погодите служить, — говорит Свиридов. — Условия.

— Слушаю.

— Первое. Единый список допуска — доделать и положить мне на стол через три дня, за двумя подписями, вашей и Долгих.

— Есть.

— Второе. Никакой отдельной школы для приезжих. Ни одной. Если я узнаю, что ваши трое занимаются отдельно по особой программе, я вас сниму в тот же день.

— Не будет.

— Третье, и оно вам не понравится. — Свиридов складывает бумагу. — Вы теперь отвечаете за подготовку. Значит, когда через две недели у нас в мороз половина машин не заведётся и мне сверху скажут дать результат — вы будете стоять рядом со мной и объяснять, почему люди не готовы. Не Долгих. Вы.

— Понял.

— Ничего вы не поняли, — говорит Свиридов почти добродушно. — Ну да ладно. Идите. Я выхожу.

Мороз к ночи забрал крепче: щиплет ноздри, снег скрипит по-зимнему, звонко. Над полем чистое небо и звёзды, и на севере стоит слабое ровное зарево — не пожар, а именно зарево, широкое и низкое, и все здесь знают, что это.

Там город.

Я стою и смотрю на это зарево, наверное, минуту.

Потом иду в землянку, где Литвинов уже разложил на столе черновик списка допуска, и где Тимка при копилке переписывает свою выжимку из четырёх тетрадей, и где Федя примеряет к стене железное колено от печки, привезённое с прежнего поля. Временная железная печурка дымит на изгибе трубы; он хочет завтра обложить её кирпичом и переделать вывод.

— Пал Сергеич, — говорит Федя, не оборачиваясь. — А обкладку печки когда делать?

— Завтра.

— Кирпич я нашёл.

— Где?

— У выработок. Там от старой сушиллки битый лежит, ничей.

— Ничей?

— Я спросил, — говорит Федя с достоинством. — У Барабаша спросил. Он в книгу записал.

Я подбрасываю в печурку два полена, сажусь к столу в шинели и придвигаю черновик. Пока спина греется, кистям холодно; время от времени я прячу их в рукава.

Список получается длинный, и это неправильно; хороший список должен помещаться на одной странице, иначе его никто не будет читать. Мы с Литвиновым режем его до утра, и к рассвету в нём остаётся четырнадцать пунктов, из которых половина начинается со слова «показать».

Перед самым сном я вспоминаю про Кузьмичёва и его три вещи.

Первую и вторую я сделал: новый номер полевой почты выяснил в первый день, отправил Кузьмичёву и подал местному почтовику сведения о прибытии. Молчаливый ефрейтор с деревянным протезом вместо кисти записал меня в списки при мне, при мне же и вписал в тетрадь.

Третье — второе письмо — не написал.

Я достаю лист, кладу на планшет и сижу над ним минут десять.

Написать надо мало: что перебазировался, что жив, что вот новый адрес, пиши сюда.

Проблема в том, что я не знаю, дошло ли первое. И если оно не дошло, то это письмо она прочтёт первым, и оно начнётся с адреса, а не с того, с чего должно начинаться.

В конце концов я пишу так, как есть: сначала про то, что уже отправлял письмо и не знаю, дошло ли; потом, коротко, то же самое, что было в первом, — про ранение, про память, про то, что не хочу играть человека, которым не являюсь; потом новый адрес, крупно, отдельной строкой, чтобы не потерялся.

И в самом конце, подумав, приписываю:

«Буду рад хотя бы одной строчке, что ты жива. Если пока не захочешь писать — я подожду».

Заклеиваю. Надписываю. Кладу в планшет, чтобы утром отдать ефрейтору с протезом.

За стенкой Федя что-то роняет и негромко ругается. Литвинов спит, положив голову на карту. Копилка догорает.

Завтра у меня четырнадцать пунктов на одной странице, мороз, к которому нужно готовить моторы, и подпись, которую я теперь буду ставить под чужими мальчиками.

Я задуваю коптилку.

Глава 3



Карта у Свиридова прибита к стене четырьмя гвоздями, и по её нижнему краю идёт волна: бумага отсырела ещё в октябре, потом замёрзла, потом высохла, и теперь Балтика на ней слегка вздыблена, как море в непогоду.

— Ну, — говорит он, не оборачиваясь. — Показывай.

Мы вошли вместе с Литвиновым; он ждёт у края стола, пока я освобожу место. Я кладу на стол свою. Не полковую — нашу, ту, которую мы с Литвиновым рисовали три недели по трофейным накладным и по спискам ящиков, снятых разведгруппой с выброшенного на мель транспорта. На ней три аэродрома, соединённые линиями с одной точкой в глубине, и эта точка обведена дважды.

— Вот сюда они возят моторы и узлы, — говорю я. — Отсюда получают три поля, и вот это, ближе, зависит от него полностью: у него своей ремонтной базы нет.

Свиридов наконец поворачивается.

Мы у него уже третью неделю, и я до сих пор не понял про него одну вещь: он не любит кагульских или не любит всех одинаково. Лицо у него узкое, серое от недосыпа, и разговаривает он так, будто бережёт слова на потом.

— Про накладные я читал, — говорит он. — Мне интересно другое. Ты мне сейчас будешь рассказывать, как вы в сентябре разнесённой парой ходили?

— Нет.

— Точно нет? — Он смотрит на меня прямо. — Потому что за последние две недели мне трижды рассказали, как Иванов с Рябовым красиво отработали. Первый раз рассказал Рябов, второй — начальник штаба, третий — какой-то сержант в столовой, которого там вообще не было.

— Я про сентябрь не собирался.

— Тогда говори про декабрь.

Вот это правильный вопрос. Настолько правильный, что мне даже приятно.

— Про декабрь говорит штурман, — отвечаю я. — Товарищ майор, у меня к этому месту есть карта и есть желание. У Литвинова — признаки, и он вам первым делом скажет, чего не хватает.

Литвинов расстёгивает планшет.

Правая рука у него давно работает как надо, левая при холоде ещё немеет, и он привычно держит её под ремнём, ближе к телу. На стол ложатся два листа: на одном схема, на другом столбик записей.

— Вот подтверждённое, — говорит он и кладёт палец. — Первое: за октябрь через узловую станцию к этому полю прошло не менее четырёх платформ с крупными ящиками. Это по накладным, они датированы. Второе: с этого поля за тот же месяц ушло три раза по два самолёта «на перегон», и они не вернулись в тот же день. Третье: у них там есть капитальное строение с воротами, оно есть на довоенном снимке.

— А неподтверждённое? — спрашивает Свиридов.

— Неподтверждённого больше, — спокойно говорит Литвинов. — Я не знаю, работает ли это строение сейчас как мастерская. Я не знаю, стоят ли там склады узлов рядом или их растащили. Я не знаю, что они делают зимой: может, всё вывезли в тыл до весны, а нам достанется пустая коробка.

Свиридов слушает, не перебивая. Потом переводит взгляд на меня.

— Ты его специально притащил?

— Специально.

— Зачем?

— Затем, что если бы я пришёл один, я бы вам сейчас продавал уверенность, — говорю я. — А у нас её нет. У нас есть хорошее место и три дырки в знании.

Он садится. Пододвигает мою карту к себе и некоторое время смотрит на неё молча.

— Хорошо, — говорит он наконец. — Беру в подготовку. Не в план — в подготовку. Два условия.

— Слушаю.

— Первое: цель подтверждается. Не догадкой. Мне нужен снимок или наблюдение, или хоть что-то, что скажет: там сейчас живут и работают. Пойдёшь к разведчикам сам, я позвоню.

— Есть.

— Второе. — Он смотрит на меня. — Зимняя готовность.

— Товарищ майор...

— Не перебивай. — Голос у него не повышается, но становится плоским, как доска. — Сегодня утром у меня три машины не завелись. Три из девяти. Несколько суток мороза, и треть эскадрильи — железо в снегу. Ты мне сейчас предлагаешь дальний удар, восемьсот километров туда и обратно, зимой, ночью. Какими самолётами ты его будешь делать? Теми, которые сегодня не завелись?

Вот тут мне и сказать нечего. Потому что он прав до последней запятой.

— Ты у меня кто по должности? — спрашивает Свиридов.

— Заместитель командира эскадрильи по лётной подготовке.

— Вот и организуй готовность, — говорит он. — С техслужбой: им нужны люди и время, тебе нужна исправная группа. — Планировать все умеют. У меня в штабе четыре человека, которые планируют. А запускать моторы в минус двадцать умеют двое, и оба — техники, и оба ко мне ходят и просят людей, а людей нет.

Он встаёт и подходит к своей вздыбленной карте.

— Иванов. Я тебе сейчас скажу одну вещь, и ты не обижайся.

— Не обижусь.

— Меня твоя слава не греет, — говорит он. — Совсем. Я в августе потерял полк. Не эскадрилью — полк, по частям, за шесть недель. И я насмотрелся на людей, которые красиво летают и не умеют держать хозяйство. К весне от них остаётся хорошая память и пустая стоянка.

— Я понял.

— Что ты понял?

— Что место у карты мне выдали не за прошлое, — говорю я. — И что оно теперь моя обязанность, а не награда.

Свиридов хмыкает.

— Иди, — говорит. — К разведчикам завтра. А сегодня иди к своим моторам.

На выходе из штабной землянки меня перехватывает Сомов.

Старшина Сомов ведаёт полковой почтой; его ефрейтор записывал меня при прибытии. Сомов, по-моему, единственный на базе человек, который зимой не мёрзнет: он всё время ходит и от ходьбы горячий.

— Товарищ старший лейтенант! Вам.

Он протягивает конверт.

И я узнаю его раньше, чем успеваю подумать.

Не марку, не штамп — почерк. Свой собственный. Крупные буквы адреса, выведенные старательно, потому что я тогда, в октябре, писал этот адрес медленно и с нажимом, как пишут на конвертах, от которых много зависит.

Мария Соколова.

У меня внутри что-то делает короткий и очень неприятный оборот.

Вернула.

Первая мысль именно такая, и она приходит быстрее всякого рассуждения, и она глупая, как все первые мысли: она прочла, и ей не понравилось, и она отправила обратно, потому что не хочет ни писать, ни отвечать, ни знать.

Я стою с конвертом в руках на морозе и чувствую себя двадцатилетним, и мне это не нравится вдвойне, потому что двадцать мне было очень давно.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Сомов. — Вы его переверните.

— Что?

— Переверните, говорю. И не делайте такое лицо. Я уже посмотрел, у меня работа такая.

Я переворачиваю.

На обороте штамп, потом ещё один, потом лиловая от руки надпись поперёк: «Адресат по данному адресу не проживает, эвакуирован. Возврат отправителю».

Конверт не вскрыт.

Я стою и смотрю на нетронутый клапан, заклеенный мной же в октябре, и мне становится одновременно легче и хуже.

Легче — потому что она его не читала и не отказывала.

Хуже — потому что за несколько недель моё письмо проехало полстраны и вернулось ко мне, не найдя человека, а человек всё это время был где-то и не знал, что его ищут.

— Пойдёмте ко мне, — говорит Сомов. — Тут на ветру не разберём.

Почта у него — половина землянки, отгороженная брезентом, с полкой из ящиков и керосиновой лампой, привязанной проволокой к столбу, чтобы не уронили.

Он кладёт конверт на стол, разворачивает под лампу и начинает водить пальцем.

— Так. Вот наш штемпель, полевая почта, октябрь. Это когда вы сдали. Вот тут — пересылочный, спустя четыре дня. Дальше... вот, видите, смазан, но читается: ещё через пять дней. Это уже узел.

— А это? — Я показываю на квадратный синий оттиск.

— А это самое интересное, — говорит Сомов с удовольствием человека, который наконец занимается своим ремеслом при внимательном слушателе. — Это адресное бюро. Кузьмичёв отправил через справочное бюро. Там попробовали переслать по найденному адресу эвакуации, а на месте её уже не застали. До занятого Новгорода письмо, конечно, не ходило.

— И?

— И бюро дало вот эту надпись. — Он показывает лиловое. — «Эвакуирован». Заметьте, не «выбыл неизвестно куда», а «эвакуирован». Разница большая.

— Какая?

— Такая, что кто-то её записывал, — говорит Сомов. — Эвакуированных пишут. Составы, списки, пункты назначения. Другой вопрос, куда эти списки потом уехали и в каком они виде, но они есть.

Я сажусь на ящик.

— Значит, письмо не вручалось.

— Не вручалось, — подтверждает он. — Оно даже в руки никому не попало, кроме почтовых. Вот вам моё слово: если бы его отдали и вернули, был бы другой штамп и клапан был бы тронут. Люди, товарищ старший лейтенант, аккуратно вскрывать не умеют. Всегда рвут.

Я смотрю на свой собственный октябрьский почерк.

— И что теперь?

— А теперь, — говорит Сомов, — самое главное: не суйте второй туда же.

— Я и не собирался.

— Собирались, — говорит он невозмутимо. — Все собираются. Приходят и говорят: напишу ещё раз, может, в тот раз не дошло. И пишут по тому же адресу, и оно через полтора месяца возвращается по той же дороге, и человек сидит с двумя конвертами вместо одного.

Он берёт огрызок карандаша и переписывает на клочок бумаги все штампы — по порядку, с датами.

— Вот это сохраните, — говорит он, отдавая клочок. — Это дорога, которую письмо уже прошло. Второй раз по ней не надо.

— А как надо?

Сомов смотрит на лампу и жуёт губами.

— Вечером приходите, — говорит он. — Мне надо подумать и кое-что посмотреть. Тут не почтовое дело, тут другое. Только вы сегодня всё равно заняты.

— Чем?

Снаружи гремит железо, кто-то кричит про лампу. Сомов поднимает голову.

— Тем, чем весь аэродром, — говорит он. — Слышите? Опять у подогревателей суетятся.

Три машины стоят в ряд, и все три молчат.

Ветра почти нет, и от этого мороз кажется не таким злым, но воздух сухой и колкий, и каждое дыхание оставляет в носу тонкие иголки. Снег скрипит по-особому, высоким звуком, какой бывает только ниже двадцати.

Возле первой из них человек шесть. Двое греют, двое стоят, двое сидят на корточках у ящика и курят, пряча папиросы в рукав.

Плешаков здесь же. Он стоит без рукавиц — в тонких, обрезанных под пальцы перчатках, — и по этому признаку я уже вижу, что он работает с утра и не собирается заканчивать.

— Ну? — говорю я.

— Не «ну», — отвечает он. — «Ну» тут все говорят с шести утра.

— Что с ними?

— С ними, — Плешаков делает ударение, — разное. Вот в этом всё дело, а мне никто не верит.

Подходит техник соседней эскадрильи, немолодой, с обмороженной щекой, замотанной тряпицей.

— Чего тут не верить, — говорит он. — Мороз. Греть сильнее надо, вот и весь диагноз.

— Ты уже грел.

— Мало грел.

— Ты грел четыре часа, — говорит Плешаков. — Четыре часа, две лампы и весь керосин, который был у тебя на сутки. Ты хочешь шесть? Давай шесть. Только у тебя на вечернюю подготовку не останется ничего, и тогда завтра у тебя не три машины встанут, а семь.

— А что ты предлагаешь?

— Я предлагаю пойти и посмотреть, — говорит Плешаков. — Иванов, идёшь?

— Иду.

У первой машины он ничего не объясняет. Он убеждается, что зажигание выключено, предупреждает человека у кабины и подводит меня к винту.

— Крути.

Я берусь за лопасть. Тяну.

Винт идёт. Идёт тяжело, с сопротивлением, но ровно, без рывков, и это сопротивление какое-то вязкое, будто я мешаю ложкой очень густую кашу.

— Ещё.

Кручу дальше. То же самое.

— Понял? — спрашивает Плешаков.

— Масло.

— Масло, — соглашается он. — А теперь запомни, как оно ощущается, потому что описать это словами нельзя, а руками — можно.

Он оборачивается к своим:

— Ерохин! Когда ты вчера масло сливал?

— Сливал сразу после посадки, товарищ воентехник! — отзывается Ерохин от ящиков.

— Горячим?

— Горячим!

— А заливал каким?

Пауза.

— Так его подогревали...

— Сколько?

Пауза длиннее.

— Ну, оно тёплое было, — говорит Ерохин уже без уверенности.

— «Тёплое» — это не цифра, — говорит Плешаков. — «Тёплое» — это когда ты сунул палец и сказал себе, что успеешь. Пошли дальше.

У второй машины он отправляет меня в кабину.

— Включай бортовую сеть и нагрузку, смотри на прибор. Зажигание не трогай, запускать не будем.

Я лезу. Кабина промёрзла так, что металл берёт через перчатки, и я привычно кладу руку не на голый борт, а на матерчатую петлю.

Включаю.

Стрелка вольтметра дёргается и садится. Отпускаю — поднимается. Даю нагрузку — снова садится, ниже прежнего.

Такой провал первым делом заставляет проверить аккумулятор и его соединения.

— Аккумулятор, — говорю я наружу.

— Аккумулятор, — подтверждает Плешаков снизу. — Контакты я уже проверил. И теперь спроси у них, где он ночевал.

Я вылезаю и спрашиваю.

Выясняется прекрасное: аккумулятор ночевал в тепле, всё как положено, в землянке у печки. Вынесли его в шесть утра. А работать с машиной начали в девять.

— Он три часа на морозе провисел, пока они лампами грели, — говорит Плешаков. — И к девяти в нём осталось половина того, что было.

— Так а куда его девать было? — возмущается кто-то из механиков. — Нам же сказали к шести всё вынести!

— Вам сказали к шести быть готовыми, — говорит Плешаков. — А вы поняли: к шести всё разложить на снегу.

Третья машина — самая интересная.

Здесь Плешаков ничего не показывает. Он берёт стеклянную банку — настоящую, стеклянную, невероятная роскошь, — подставляет под отстойник и сливает.

В банке ничего особенного. Бензин как бензин.

— Смотри дальше, — говорит Плешаков.

Он ставит банку на ящик и отходит от слитого бензина к механикам. Я стою над ней минуты три.

И вижу.

На дне, в углу, медленно проступает мутное. Не осадок — крупинки. Мелкие, белёсые, они ложатся отдельным слоем, и когда я наклоняю банку, слой не смешивается.

— Лёд, — говорю я.

— Лёд, — кивает Плешаков. — Воды у них в системе с осени накопилось, а теперь она вымерзает и садится, где похолоднее. И забивает. Они эту машину третий день лампами жарят, а у неё в трубке пробка.

Он оборачивается к механикам.

— Вот вам три машины, — говорит он. — И три разные болезни. Одну надо кормить, вторую — поить, третью — сушить. А вы им всем три дня ставите горчичники.

Механики молчат.

Я смотрю на них и вижу то, что видел много раз: людей, которых довели до состояния, когда думать уже нечем. Четвёртые сутки мороза. Каждый спит по три-четыре часа, руки у всех в трещинах, у двоих обморожены пальцы. В этом состоянии человек хватается за самое простое объяснение не потому, что глуп, а потому, что на сложное у него нет остатка.

— Плешаков, — говорю я. — Сколько человек сейчас занято этими тремя?

— Четырнадцать.

— А толку?

— А толку — ноль третий день.

— Тогда всё, — говорю я. — Отставить греть вслепую.

Плешаков показывает ближайшему мотористу убрать подогреватель. Тот закрывает подачу, отводит рукав; гул рядом стихает.

Механики поворачиваются ко мне все разом.

— Как отставить? — говорит тот, с обмороженной щекой. — Товарищ старший лейтенант, а если проверка?

Я знаю этот вопрос. Это самый честный из вопросов: что я скажу, когда придут спрашивать, почему я стоял без дела.

— Проверка придёт ко мне, — говорю я. — Отставить греть вслепую. Сейчас разделимся.

И вот тут начинается моя настоящая работа, за которую мне, собственно, и дали должность.

Я не делю их сам. Я разворачиваюсь к Плешакову.

— Три команды. Кто в какой — говорите вы, я в ваших людях не разбираюсь.

Он смотрит на меня секунду дольше нужного. Потом начинает называть.

Получается так: на масло — четверо с Ерохиным, потому что маслогрейка и бочки; на аккумуляторы — трое, включая того, у кого щека, потому что он единственный умеет обращаться с зарядным агрегатом; на воду и лёд — пятеро во главе с самим Плешаковым, потому

что там придётся греть и продувать по частям, а это дольше всего. Двух оставшихся Плешаков отправляет отогреться: потом сменят тех, кто сейчас у железа.

— Теперь признаки, — говорю я. — Мне нужно от каждой команды по одной вещи, которую можно увидеть или измерить. Не «сделали», а «проверили и вот что вышло».

— Зачем? — спрашивает Ерохин.

— Затем, чтобы ты мне не сказал «масло тёплое».

Плешаков усмехается в воротник.

Признаки мы вырабатываем стоя, на морозе, минут за двадцать, и все они простые до глупости, но их до сих пор никто не произносил вслух.

У масляной команды — температура по термометру, по норме техслужбы, и проворот при выключенном зажигании: если винт идёт как я сегодня крутил, работа не закончена, сколько бы ни было часов.

У аккумуляторной — вольтметр под нагрузкой и время. Именно время: сколько минут прошло от выноса из тепла до подключения. Если больше сорока минут, прежнюю проверку под нагрузкой не засчитываем: проверяем снова и решаем, нужен ли возврат в тепло.

У третьей — банка. Слили, поставили, подождали, посмотрели на дно.

— И контроль, — говорю я.

— Какой ещё контроль? — вскидывается Ерохин.

— Простой. Проверяет не тот, кто делал.

— Это что, нам не верят?

— Это чтобы тебе верили без разговоров, — говорю я. — Ты сделал, пришёл человек из другой команды, посмотрел признак и сказал «вижу». И всё, вопрос закрыт, никаких «а ты точно?».

Плешаков добавляет от себя:

— И контролёр записывает.

— Куда?

— На фанерке, — говорит Плешаков. — У меня их три штуки, я на них писал заявки. Теперь буду писать это.

Так на трёх стоянках появляются три куска фанеры с карандашными строчками, и именно они мне вечером покажут, что вся эта возня имела смысл.

К полудню первая машина готова.

Я забираюсь в кабину сам — не потому, что это нужно, а потому, что после трёх дней бессмысленной работы людям надо увидеть результат немедленно, а результат в нашем деле выглядит как запустившийся мотор.

— По докладам, — говорю я вниз. — Ерохин?

— Масло залито, проворот лёгкий, проверял Никитин, он не из нашей команды!

— Никитин?

— Видел! — отзывается Никитин.

— Аккумулятор?

— Поставлен восемь минут назад, под нагрузкой держит!

— Воздух?

— Есть давление!

Я запускаю.

Мотор берёт с третьей попытки — не сразу, но берёт, и выхлоп идёт белым, густым, и по стоянке разносится тот самый звук, которого здесь не слышали четвёртые сутки.

Кто-то орёт. Кто-то бьёт рукавицей о рукавицу.

Я довожу прогрев до назначенного Плешаковым режима, проверяю показания и глушу мотор. Вылезаю, когда винт остановился.

Глава 4



Ближе к вечерней сводке, когда уже виден результат на других стоянках, ко мне подходит Зорин.

Он давно командует своим экипажем и, по-моему, до сих пор не решил, кем меня считать. На разборах спорит. В воздухе слушается. В остальное время держится ровно.

— Товарищ старший лейтенант.

— Да?

— У меня вопрос по вашему порядку.

— Задавай.

— Мы на своей сделали то же самое, — говорит он. — Всё по трём пунктам. Аккумулятор поставили, масло, банку смотрели. Сейчас будем пробовать.

— И?

— И я сейчас сообразил, что мы не смотрели одну вещь.

Он говорит это не мне, а куда-то в сторону, и я вижу, как ему это неприятно.

— Какую?

— Фильтр. Мы слили из отстойника, а фильтр не разбирали. Плешаков сказал — при воде надо смотреть и фильтр, а мы... — Он замолкает. — Мы торопились. У нас на фанерке уже записано, что проверено.

Вот оно.

Вот та самая минута, ради которой вообще стоит заводить любые фанерки и признаки. Потому что сейчас у человека есть два пути, и оба короткие.

Первый: промолчать. Машина, скорее всего, заведётся. Фанерка заполнена. Вечером в сводке будет написано: восемь готовых из девяти, и Свиридов будет доволен, и я буду выглядеть человеком, который за один день починил эскадрилью.

Второй: разобрать фильтр и не успеть к сроку.

— Сколько разбирать? — спрашиваю.

— Часа полтора. Может, два, там всё прихватило.

— Разбирай.

Он поднимает глаза.

— Товарищ старший лейтенант, мы к вечерней сводке не попадём.

— Не попадёте.

— И в сводке будет семь вместо восьми.

— Будет семь, — говорю я. — Зорин, ты что от меня услышать хочешь?

Он мнётся.

— Ну... что это, может, и не критично.

— Оно, может, и не критично, — соглашаюсь я. — Может, там чисто. А может, там пробка, и ты завтра ночью поднимешься, и у тебя мотор встанет над заливом, и я буду сидеть и вспоминать, как сегодня решил не терять полтора часа.

Он молчит.

— Иди разбирай, — говорю я. — И запиши на фанерке, что нашёл, — хоть лёд, хоть пусто. Особенно если пусто.

— Зачем, если пусто?

— Затем, что отличим проверенное от пропущенного. Чистый фильтр сегодня не разрешает завтра пропускать осмотр, но поможет Плешакову искать причину.

Он уходит.

Вечером в сводке у нас действительно семь. И Свиридов действительно спрашивает, почему семь, а не восемь.

— На восьмой разбирали фильтр, — говорю я.

— Нашли?

— Нашли. Лёд, немного, у самой сетки.

Свиридов молчит.

— Ладно, — говорит он. — Семь так семь.

И вот эта фраза, сказанная без выражения, стоит для меня больше всяких благодарностей: она означает, что честная задержка здесь не наказывается.

Но фраза сказана мне, а не им. Поэтому вечером я собираю технический состав у печки и говорю сам.

Собираются неохотно: после такого дня человеку нужны сапоги долой и десять минут тишины, а не речи начальства.

— Коротко, — говорю я. — Сегодня в сводке семь. Завтра доложат восемь. Кто хочет знать, почему не восемь сегодня?

Молчат.

— Потому что на машине Зорина разбирали фильтр. И нашли лёд. Зорин сам вспомнил, что не посмотрел, и сам сказал, хотя мог не говорить: никто бы не узнал, машина бы завелась.

Зорин стоит у стены и смотрит в пол. Ему сейчас неуютно, и это ничего: пусть.

— Теперь главное, — говорю я. — Правило у нас с сегодняшнего дня такое: кто нашёл у себя пропуск и сказал — тот молодец, и я его не наказываю. Кто скрыл и машина встала в воздухе — вот с тем я буду говорить по-другому.

— А если он скрыл, а машина не встала? — спрашивает кто-то из темноты.

Хороший вопрос. Злой и правильный.

— Тогда он выиграл один раз, — говорю я. — И проиграет на третий. Я такие случаи видел.

— Где видели? — спрашивает тот же голос.

Я успеваю поймать себя за язык на самом краю.

— Видел, — говорю я. — С лета насмотрелся, как все.

Плешаков, стоящий сбоку, добавляет от себя:

— И записывать, если пусто. Вот это вам скучно, а мне надо.

— Да зачем, если пусто-то?

— Затем, — говорит Плешаков, — что если у меня на пяти машинах записано «фильтр чистый», а на шестой лёд, я завтра знаю, где искать. А если у меня везде пусто и нигде не записано, я завтра начинаю сначала.

Расходятся молча. Не воодушевлённые: воодушевлять на четвёртые сутки мороза — дело безнадёжное.

Но утром на фанерке у второй машины я нахожу новую строчку, написанную не Плешаковым: «Смотрел фильтр. Чисто. Гребнев».

И это, по-моему, и есть результат всей моей речи.

Вечером в казарме шьют.

Казарма у нас — длинная землянка в два ряда нар, с двумя печками и одной лампой на двадцать человек, и потому в ноябре она делится на три пояса: горячий у печи, тёплый посередине и «камчатка» у входа, где к утру примерзает воротник к стене.

Сегодня в горячем поясе не спят. Там сидят человек десять, и посередине лежит ткань.

Ткань эта с Кагула. Мы её вывезли в сентябре, тюк и полтюка, и с тех пор она лежала в углу склада, потому что её всё время собирались пустить на что-то важное и всё время не пускали.

Теперь пускаем на чехлы.

Порядок раздела придумали до меня, пока я торчал у Свиридова, и он гениален в своей простоте.

— Поровну, — объясняет мне старшина, отвечающий за склад. — Девять машин, девять кусков. Отмерили, отрезали, никому не обидно.

— Отрезали уже?

— Пять отрезали.

Федя, сидящий рядом с куском на коленях, поднимает голову.

— Товарищ командир, — говорит он. — Это не годится.

— Почему?

— Потому что оно не на машину меряно. Оно на справедливость меряно.

Он встаёт, разворачивает свой кусок и прикладывает к себе, растянув руками.

— Вот. На капот пойдёт. А на мотогондолу с боков — не хватит по ширине. Вот столько надо, — он показывает, — а у нас вот столько.

— Так сшей из двух, — говорит старшина.

— Из двух — это шов посередине верха, — отвечает Федя. — Он у меня через сутки разойдётся, потому что на него ляжет весь снег и потом лёд. Шов надо сбоку, где не давит.

Наступает та особенная тишина, которая наступает, когда десять усталых людей понимают, что придётся переделывать.

— Ну и что теперь, — говорит кто-то. — Всё распарывать?

— Не всё, — говорит Федя. — Два уже прихваченных.

— Я их час шил!

— А я их завтра час снимать буду с примёрзшего мотора, — спокойно отвечает Федя. — Сейчас шов перенесём или завтра на стоянке рвать и чинить? Выбирай.

Мы идём на стоянку мерить. Втроём: я, Федя и тот, кто час шил, — его фамилия Кулешов, и он идёт с таким лицом, будто конвоируют его.

На улице минус двадцать два и полная луна. Самолёт стоит чёрный, огромный, притихший, и от него тянет холодом как от ледника — это не образ, это буквально: постояв рядом минуту, чувствуешь щекой.

Меряем верёвкой. Никакой рулетки нет, а верёвка с узелками ничем не хуже, если один человек держит и не отпускает.

— Держи здесь, — говорит Федя. — Нет, ниже. Вот по этому шву иди.

Я держу конец в рукавице. Сухая верёвка скользит по овчине, приходится прижать её к шву двумя пальцами; пока Федя обходит гондолу, кисть успевает озябнуть.

— Двенадцать узлов на обхват. И три на подвес.

Кулешов записывает огрызком карандаша на папиросной коробке, дыша на пальцы между цифрами.

— А теперь самое главное, — говорит Федя. — Сюда иди.

Он ведёт нас к соседней машине, на которой чехол уже надет — старый, довоенный, с оторванным углом.

— Снимай, — говорит он Кулешову.

Тот берётся и тянет.

Чехол не идёт. Он прихвачен к железу в трёх местах — там, где днём подтаяло от тепла мотора, а ночью схватило.

Кулешов тянет сильнее.

— Стоп, — говорит Федя. — Вот так ты его порвёшь. И будешь утром зашивать на морозе.

Кулешов отпускает ткань.

— А как надо?

— А надо, чтобы он снимался частями. Сначала низ, потом бока, потом верх. Значит, завязки должны быть не сверху, а сбоку, и их должно быть много, и они должны развязываться вот этим.

Он снимает рукавицу — правую, заскорузлую от работы, — и показывает пальцами.

— Нет, — говорит он тут же. — Не так. В рукавицах.

И надевает рукавицу обратно, и пробует развязать узел на старом чехле, и, конечно, ничего у него не выходит: узел жёсткий, обледеневший, а пальцы в рукавице толстые и тупые.

— Вот, — говорит Федя. — А теперь представь, что тебе надо это сделать за две минуты и рядом стоит командир, который спешит.

— Значит, снимать рукавицу.

— Значит, ты за три чехла обморозишь руки, — говорит Федя. — А их у тебя две, и обе казённые.

Возвращаемся. Я по дороге думаю не про чехлы, а про то, как это устроено вообще: любая вещь, сделанная зимой без примерки, выходит вещью, которую потом обслуживают голыми руками.

В казарме Федя садится и берёт полено.

— Дай нож.

Из полена он за десять минут выстругивает четыре продолговатых деревяшки, похожих на толстые пуговицы с перехватом посередине.

— Вот, — говорит он. — Петля и вот это. Накинул петлю, повернул, зацепил. В рукавицах — за секунду.

Кулешов вертит деревяшку.

— Это ж как у деда на мешках, — говорит он.

— Наверное, — соглашается Федя. — Я у рыбаков видел, на Кагуле. У них сети так вязали, чтоб в мороз не возиться.

И тут происходит то, что всегда происходит, когда одному человеку дают показать умение: работа перестаёт быть повинностью.

Через полчаса деревяшки строгают трое. Ткань перекладывают по меркам, а не поровну; на одну машину идёт кусок шире, на другую уже, и никто уже не считает справедливость в аршинах, потому что все считают её в мотогондолах.

Кулешов распарывает свои два шва.

Делает он это молча и очень аккуратно, и я замечаю, что он подпарывает не полностью, а только там, где действительно надо, — то есть человек уже думает, а не подчиняется.

Я сижу и держу ткань, потому что держать ткань — единственное, что я тут умею делать хорошо.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит один из молодых с дальних нар. — А вы шить умеете?

— Пуговицу пришью.

— А ещё?

— А ещё — нет, — говорю я. — Держать ткань у меня лучше выходит.

Вспоминается жена из другой жизни: сколько лет она отбирала у меня иголку, поглядев на очередной шов. От этой памяти на секунду теплеет и сразу становится тяжело. Я подтягиваю полотно, чтобы Феде было удобнее пройти угол.

— Вот так и держите, — говорит он. — А то у вас уходит.

К утру готовы четыре комплекта чехлов. К следующему вечеру — все девять.

И выигрыш от них оказывается не тот, о котором мы думали. Мы думали, что чехол — это тепло. А вышло, что чехол — это шесть минут.

Шесть минут утром, когда команда подходит к машине и не скалывает лёд с капота, а развязывает четыре деревяшки и стягивает ткань частями. Шесть минут на девять машин — почти час рабочего времени в мороз, когда каждая минута на улице стоит человеку полдня здоровья.

Про Анну Петровну я узнаю от Феди, и узнаю с опозданием на трое суток.

— Она приехала, — говорит он.

— Кто?

— Ну, тётя Аня. Которая нас кормила, когда мы у неё стояли.

Это та самая Анна Петровна, у которой мы четыре дня жили возле запасного поля, пока меняли пробитый бак. Потом она гостила у сестры возле нашей прежней базы, пекла нам пироги и провожала в ноябре. Теперь деревню сестры задело краем фронта. Сестра ушла с лазаретом, Анна Петровна — с обозом; о своём доме у запасной площадки пока ничего нового не знает.

И вот теперь она здесь.

— Где?

— В бывшей каптёрке, — говорит Федя, глядя в сторону. — Вы бы сходили.

— А что?

— А то, что она там не живёт. Она там... — Он подбирает слово. — Она там находится. Иду.

Каптёрка — это сруб три на четыре, притулившийся к складу, и я мимо него хожу пять раз в день. Внутри печка, лавка, полка и мешки.

Мешков много. Они стоят вдоль стен в два яруса, и это крупа, соль и ещё что-то, и вход между ними такой, что боком.

Анна Петровна сидит у печки на чурбаке и перебирает лук.

Ей лет пятьдесят пять, лицо круглое и обветренное, руки красные, и, когда она поднимает голову, я вижу, что она за время после наших проводов постарела на пять лет.

— Пришёл, — говорит она вместо приветствия. — Садись, чего стоишь.

— Куда?

— А вон, на мешок.

Я сажусь на мешок.

— Анна Петровна.

— Чего?

— Вы тут спите?

— Сплю, — говорит она спокойно. — Вон, на лавке. Хорошая лавка, широкая.

— А вещи?

— А вещи тут, — она кивает на узел под лавкой. — Мне много не надо.

Я смотрю на этот узел. Он один. Женщина ушла из дома сестры с одним узлом и живёт в проходе между чужими мешками.

— А ходят через вас?

— Ходят, — говорит она и наконец перестаёт перебирать лук. — Вот с этим, парень, я тебе скажу, нехорошо.

— Что нехорошо?

— Ходят круглые сутки, — говорит она, и в голосе появляется то, чего я не слышал у неё в сентябре: усталая злость. — Приходит старшина за крупной — в два ночи. Приходят ребята за солью — в четыре. Я на лавке лежу, они лампой светят, извиняются. Я им говорю: да ходите, чего там. А сама не сплю с двенадцатого числа.

— Почему не сказали?

Она смотрит на меня как на ребёнка.

— Кому?

И вот на это у меня ответа нет, потому что она права: некому. Она тут не боец, не вольнонаёмная и вообще никто; она женщина, которая варит на всех суп, и за это её кормят, и все считают, что это уже щедро.

— А если я скажу, что вам нужен свой угол? — говорю я.

— А мне неудобно, — сразу отвечает она. — Тут ребята в землянках по двадцать душ, а я буду одна в комнате сидеть? Я не барыня.

— Анна Петровна.

— Чего?

— Вы в сутки сколько работаете?

Она прикидывает.

— Ну... с пяти утра. И вечером до одиннадцати, пока ночным не сварю.

— Восемнадцать часов.

— Ну не всё же подряд, — говорит она. — Я и посижу иногда.

— И спите в проходе, через который ходят за солью.

— Ну.

— Тогда через три недели вы ляжете, — говорю я. — И суп будет варить Дёмин.

Она хмыкает.

— Дёмин варить не умеет.

— Вот именно.

Дальше начинается то, что в армии называется «решить вопрос», и на что уходит полтора дня.

Полтора дня я потратил на укрытие женщины от собственного склада, и, если честно, этих полутора дней мне не жалко ни капли.

Сначала я иду к хозяйственнику. Хозяйственник разводит руками: помещений нет, всё занято, это склад, а не гостиница.

Потом я иду к Плешакову.

— Мешки, — говорю я.

— Что мешки?

— Мешки, которые в каптёрке. Их можно куда-нибудь?

Плешаков думает ровно четыре секунды.

— Можно, — говорит он. — В старую складскую землянку, которую Барабаш освободил. Только сперва перекроем протечку и настил поднимем: крупу в сырость не положишь.

— А доски?

— А доски я тебе найду, — говорит он с достоинством человека, который третий месяц находит доски. — Только ты сам с ней договаривайся, я в бабы дела не лезу.

Договариваюсь. Анна Петровна сопротивляется два раза: сначала из вежливости, потом всерьёз.

— А ну как склад растащат?

— Так вы же не сторож.

— А кто, если я там сплю?

— В том и дело, — говорю я. — Вы там спите, и все думают, что склад под присмотром, и никто замка не вешает. А как мешки перенесём в отдельную землянку — повесят замок и назначат ответственного. Здесь останется ваше жильё.

Это её убеждает быстрее всего: ей не нравится, когда что-то делается «на авось».

Перетаскиваем мешки вчетвером за вечер. Каптёрка становится пустой и вдруг оказывается большой.

Федя приходит с инструментом и молча начинает возиться с дверью.

— Ты чего? — спрашивает Анна Петровна.

— Задвижку ставлю.

— Зачем мне задвижка? Я никого не боюсь.

— А чтоб не входили без стука, — говорит Федя, не оборачиваясь. — Вы будете спать, а её изнутри задвинули, и всё. Постучат — откроете.

Он ставит задвижку, потом подтёсывает косяк, потому что дверь разбухла и не закрывается плотно, потом уходит и возвращается с куском войлока и прибивает его по низу, чтобы не дуло.

Анна Петровна стоит и смотрит на это молча.

Потом уходит за печку и там сморкается, и мы с Федей оба делаем вид, что очень заняты.

— Ну, — говорит она, выходя. — Раз такое дело, садитесь. У меня картошка есть.

Ночная смена появляется у котла в час пополудни.

Это новое — до этой недели ночные ели утром, вместе со всеми, то есть через шесть часов после того, как замёрзли. Теперь Анна Петровна оставляет им суп в котле на малом огне и накрывает крышкой с тряпкой.

Я прихожу посмотреть, потому что расписание придумывал я и, значит, мне и проверять, работает ли оно.

Работает.

В каптёрке тепло. Семеро сидят вплотную на лавке и на чурбаках, у всех красные лица и белые пятна на скулах, и все едят быстро и молча, и от мисок идёт пар.

— Не глотайте, — говорит Анна Петровна. — Обожжётесь. Никто у вас не отнимет.

— Тётъ Ань, а хлеб?

— Хлеб вот, только не весь берите, у меня на утро ещё.

Я стою у двери и считаю. Семь человек. По списку ночных должно быть шесть.

Седьмой — Ведерников.

Костя Ведерников, девятнадцать лет, механик, прибыл в октябре с пополнением, тихий, длинный, с вечно красными ушами. Он сидит с краю и держит ложку, и я вижу, как он ест.

Он ест очень медленно. Подносит ложку, останавливается, ждёт секунду, доносит.

Потом ложка останавливается на полпути.

И он спит.

Сидя, с ложкой в руке, с открытым ртом.

Кто-то рядом фыркает и тянется его толкнуть.

— Не трожь, — говорит Анна Петровна.

Она подходит, аккуратно вынимает у него из пальцев ложку, кладёт на стол и поворачивается ко мне.

— Иванов.

— Да.

— Ты вот у них главный по расписанию?

— Ну, положим, я.

— Тогда объясни мне, — говорит она, и в её голосе нет ни капли почтения к званию, — почему этот парень у меня вторую ночь подряд ест в час ночи?

Я молчу.

Потому что ответа у меня два, и оба плохие.

Первый: потому что в графе на фанерке напротив второй ночи стоит его фамилия, а днём между ними он тоже подменял товарища. Второй, настоящий: потому что три дня назад, когда меняли смены, кто-то спросил «кто останется?», и Ведерников не возразил.

Он вообще не возражает. Это его главное свойство, и именно поэтому он второй раз подряд в ночь.

— Кто ставил? — спрашиваю я.

— А я почём знаю, — говорит Анна Петровна. — Я по мискам считаю. У меня вчера семь было и сегодня семь, а по бумажке шесть.

Я выхожу и иду будить сменщика.

Глава 5



Это, между прочим, самое неприятное действие за весь день: в половине второго ночи вытащить из-под шинели спящего человека и сказать, что ему на мороз.

Сменщика зовут Никитин, тот самый, что днём контролировал масло. Он просыпается тяжело, садится, смотрит на меня мутно.

— Что?

— Ведерников вторую ночь. Иди.

Никитин трёт лицо.

— А чего он не сказал?

— А ты у него спрашивал?

Он молчит. Потом начинает наматывать портянки.

— Скажите ему, чтоб не геройствовал, — бурчит он. — Он и в прошлый раз так.

Я возвращаюсь в капёрку, бужу Ведерникова и помогаю ему подняться и застегнуться. До нар довожу сам. Он окончательно просыпается по дороге, смущается страшно и начинает говорить, что он совершенно не устал.

— Ложись.

— Товарищ старший лейтенант, я правда...

— Ложись, — говорю я. — И спи до двенадцати. Не до шести. До двенадцати.

— А подготовка?

— Подготовку я переложу.

И вот тут начинается самая скучная и самая важная часть этой ночи: я сажусь с фанеркой и перекладываю дневную подготовку так, чтобы дырка от Ведерникова не поехала на других.

Выходит не идеально. Выходит, что двоим достаётся на час больше, а одну работу — заделку обшивки на четвёртой машине — приходится сдвинуть на послезавтра.

Я записываю этот сдвиг отдельной строкой, потому что послезавтра про него забудут все, включая меня.

Ведерников просыпается в двенадцать и приходит ко мне с таким видом, будто проспал войну.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить, я готов.

— К чему?

— К работе.

— Иди к Никитину, — говорю я. — Он с ночи, у него твой участок. Прими у него и отпусти его спать.

— Так он же... — Ведерников мнётся. — Он же сам может доделать, там немного осталось.

— Может, — соглашаюсь я. — Но тогда он доделает и уйдёт спать в три часа дня, а в шесть его поднимут, потому что смена. Прими участок.

И парень идёт принимать.

Я смотрю, как он это делает, и вижу, что ему неловко: он стоит, слушает Никитина, кивает, спрашивает по два раза. А Никитин объясняет обстоятельно, с удовольствием, потому что его впервые за неделю кто-то сменяет по-человечески, а не забирает работу молча.

Через десять минут Никитин уходит спать.

Ведерников остаётся с гаечным ключом и с чужим недоделанным узлом и вдруг оказывается ровно на своём месте.

Маршрут мы собираем в штабной землянке, вчетвером, и каждый приносит свою часть — не потому, что так красиво, а потому, что по-другому не получается.

Литвинов приходит первым и раскладывает два листа.

— Слева — то, что я знаю. Справа — то, что я предполагаю. Смотрите и не путайте.

На левом листе три пункта: платформы по накладным, невозвращающиеся перегоны, довоенное строение с воротами. На правом — восемь.

— Восемь предположений, — говорю я.

— Восемь. И я их все могу красиво рассказать, — говорит Литвинов. — Но если ты меня спросишь, работает ли сегодня в этом ангаре хоть один человек, я отвечу: не знаю.

— Разведчики обещали снимок.

— Обещали на той неделе.

— Значит, пойдём с двумя вариантами, — говорю я. — Первый: ангар живой, бьём по нему. Второй: ангар пустой, и тогда нам нужно что-то ещё в том же месте.

— Вот, — Литвинов кладёт палец на карту. — Подвоз. Вот сюда идёт ветка, вот тут разгрузочная площадка. Если мастерская работает, у неё есть склад узлов, и он не в ангаре — его держат отдельно, потому что боятся пожара. Значит, где-то рядом есть второе место, и оно связано с площадкой дорогой.

— Ночью ты дорогу не увидишь.

— Дорогу не увижу. След от дороги увижу, если снег свежий и по ней ездят, — говорит он. — Накатанное темнее целины.

Тимка приходит с тетрадью и сразу начинает про своё.

— Связь. Тут у меня две новости, и обе не очень.

— Давай.

— Первая: наш повторитель на этом направлении добивает только до сюда. — Он ставит точку. — Дальше я его не услышу, это по докладам экипажей, ходивших в ту сторону. Я две ночи проверял приём на земле, но границу в воздухе по этому не уточнишь.

— А вторая?

— А вторая, что у меня между вот этой точкой и вот этой получается возможный провал минут в двадцать, — говорит Тимка. — Участок, где я могу не достать ни до дома, ни до соседнего узла.

Он поднимает голову и смотрит на нас.

— Я к чему. Если в эти двадцать минут что-то случится, вы про это узнаете, когда мы или вернёмся, или нет.

— Сократить можно? — спрашиваю.

— Можно на семь минут, если идти чуть севернее. Но там, — он показывает, — Литвинов говорит, хуже с ориентирами.

— Хуже, — подтверждает Литвинов.

— Ну вот. — Тимка разводит руками. — Дальше вы решайте, я вам просто говорю, где я глухой.

— Идём по ориентирам, — говорю я. — На этом участке берег нас не услышит, значит, до входа дадим время и курс. Менять их без нужды не будем.

Сама эта фраза — «вот здесь я глухой» — отправляется на карту отдельной пометкой, и её видят все, кто пойдёт.

Федя приходит последним, с оружейником Ткаченко, и оба в масле по локоть.

— Нижняя установка, — говорит Федя. — Мы с ней третий день воюем.

— И?

— И нашли. — Федя ждёт, пока Литвинов сдвинет карту, и кладёт железку на принесённую ветошь. — Вот здесь скапливается. Днём тает от дыхания, ночью замерзает, и у тебя ход закусывает.

— Как закусывает? — спрашиваю.

— Не насмерть, — говорит Ткаченко. — Он идёт, но с задержкой. Ты ведёшь, а оно догоняет. На земле ты и не заметишь, а в воздухе будешь думать, что руки замёрзли.

— Лечится?

— Лечится, — Ткаченко расплывается. — Дырка.

— Что?

— Дырку сверлим, — объясняет он с гордостью изобретателя. — Вот тут, снизу. Чтоб оно стекало, а не копилось. Я две машины уже сделал, попробовали — ходит.

— А прочность?

— А прочность там ни при чём, — говорит Ткаченко. — Это кожух, он ничего не держит. Плешаков, зашедший на голоса, берёт железку, вертит, смотрит на просвет.

— Оставшиеся пока не сверли, — говорит он. — Две сделанные покажи мне и оружейному технику, вместе проверим. Запиши место и размер; после проверки решим, как делать остальные. А то ты сейчас навертишь дырок по всему полку, а через месяц никто не вспомнит, зачем.

Последнее слово в этот вечер остаётся за мной, и оно самое простое.

— Рубеж, — говорю я.

— Какой рубеж? — спрашивает Тимка.

— Возврата. Погода. — Я беру карандаш и черчу на карте линию поперёк маршрута. — Вот здесь. Если к этому месту фактическая погода хуже той, что нам дали, — разворот. Не «посмотрим», не «дотянем и решим». Разворот.

— А если она хуже на чуть-чуть? — спрашивает Литвинов.

— Значит, надо заранее договориться, что такое «на чуть-чуть», — говорю я. — Давай так: нижняя кромка ниже названной на триста — идём. Ниже больше чем на триста — назад. И только пока остаёмся выше безопасной высоты по рельефу; её не снижаем вслед за облаками. Обледенение любое — назад, потому что средств у нас никаких.

— Совсем никаких, — подтверждает Литвинов.

— Вот именно. У нас на обледенение есть только одно средство: не лезть.

И эта линия на карте — самое полезное, что мы сегодня сделали, потому что она нарисована сейчас, в тепле, среди спокойных людей, а не будет придумываться в три часа ночи над морем, когда очень хочется дойти.

К Сомову я прихожу поздно, когда в его половине уже горит одна лампа, а сам он сидит и сортирует посылки.

— Явились, — говорит он. — Садитесь. Я узнавал.

— Что узнавали?

— Всё, что мог. — Он вытирает руки о штаны и достаёт из ящика лист. — Слушайте внимательно, потому что второй раз объяснять не буду, а вам с этим жить.

Он кладёт лист на стол.

— Значит, так. У вас сейчас два разных дела, и вы их в голове держите как одно. Это главная ошибка.

— Какие два?

— Первое: письмо человеку. Второе: розыск человека. — Сомов загибает пальцы. — Письмо идёт по адресу. Нет адреса — нет письма, и хоть ты тресни. Розыск идёт по фамилии, имени, году рождения и месту, откуда выбыл. Это разные конторы, разные бумаги и разные сроки.

— И куда идёт розыск?

— В Бугуруслан, — говорит Сомов. — Центральное справочное бюро по эвакуированным. Оно с осени работает, туда со всей страны списки идут.

Я сижу и смотрю на лист.

Бугуруслан. Я это название слышу впервые в жизни и почему-то сразу понимаю, что запомню его навсегда.

— Пишется запрос, — продолжает Сомов. — Простой. Фамилия, имя, отчество. Год рождения, если знаете. Откуда эвакуирована — вот это самое главное, потому что по городу они ищут. И куда ответить.

— А ответить куда?

— А вот сюда, — он тычет пальцем в стол. — На полевую почту части. Не на дом, не на знакомых, а сюда. Мы никуда не денемся, а если денемся, то с почтой вместе.

— Год рождения я не знаю, — говорю я.

— А что знаете?

Я достаю старое письмо.

Оно у меня в планшете, в заднем отделении, и за эти месяцы затёрлось на сгибах до того, что бумага стала мягкой, как тряпка. Я его прочёл в октябре и потом ещё сверял по нему свой ответ.

Разворачиваю сейчас.

Сомов деликатно отворачивается к посылкам, и я ему за это благодарен.

Я читаю не подряд. Я ищу то, что нужно конторе: имя, город, улицу, обстоятельства.

Мария Соколова. Новгород, Знаменская улица, дом девять, квартира четыре. Курсы медсестёр при городской больнице, начались двадцатого июня. Мать болеет, младший брат Витя.

Она могла уехать вместе с ними. Но имён матери и полного имени брата у меня нет; и этого письмо не прибавит, сколько ни перечитывай.

— Сомов.

— А?

— Если она уезжала с матерью, это помогает?

— Ещё как, — говорит он, оборачиваясь. — По семье искать легче. Только мать без имени отдельным запросом не найдут; укажем, что могла ехать с ней и младшим братом.

Дальше мы пишем запрос, и пишем его минут сорок, потому что я три раза начинаю не с того.

Сначала я пытаюсь объяснить в запросе, кто я ей.

— Не надо, — говорит Сомов. — Им всё равно. Им нужны буквы, а не история.

Потом я пытаюсь написать «прошу сообщить адрес».

— Пишите: «прошу сообщить местонахождение», — поправляет он. — Адрес они, может, и не знают, а область и пункт скажут.

Потом я зачем-то начинаю писать про ранение.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Сомов устало. — Это вы в письмо потом напишете. Здесь не надо.

В итоге получается восемь строк. Сухих, как накладная.

И мне от этих восьми строк странно: мне кажется, что таким способом человека не найдут.

— Найдут, — говорит Сомов, будто услышал. — Или не найдут. Но это единственная дорога, по которой ходят все. Первый конверт бюро переслало дальше и получило обратно. Теперь отдельно запросим сверку сведений: какой пункт был указан и куда человек мог выбыть. Второе ваше письмо вы сдали сразу после назначения, оно уже ушло той же дорогой. Отозвать его теперь не сумеем. Но третье вслепую не пошлём: сначала уточним маршрут.

— Сколько ждать?

Он пожимает плечами.

— Месяц. Два. Бывает три. У меня один старшина в августе запрос послал, ответ получил в ноябре.

— Нашли?

— Нашли, — говорит Сомов. — Не там, где он думал. Она в Челябинской оказалась, а он искал в Горьком.

Я складываю запрос и отдаю ему.

— И вот ещё что, — говорю я. — Вы там, кажется, через госпитальную линию можете?

Сомов сразу становится настороженным.

— Могу, — говорит он осторожно. — А что?

— Она писала про курсы медсестёр в Новгороде. Лида Ковалёва уже направляла запрос по медицинской линии, до перебазирования. Можно узнать, куда он дошёл, и передать туда наш новый обратный адрес?

— Это уже другое дело, — говорит Сомов. — Это я могу спросить у своих. У нас почтари друг друга знают, а госпитальные списки идут отдельным потоком.

— Спросите.

— Спрошу. — Он смотрит на меня. — Только, товарищ старший лейтенант, я вам сразу одну вещь скажу, чтоб потом не обижались.

— Говорите.

— Я узнаю, где человек. Если узнаю. — Он говорит медленно, подбирая. — Я не буду узнавать, как она живёт, с кем живёт, и чего пишет, и кому. Вот этого не просите. Я так один раз сделал по просьбе, и мне до сих пор стыдно.

Я смотрю на него.

И думаю, что этот немолодой человек с красным от ходьбы лицом только что провёл границу, которую я и сам бы провёл, но услышать её от него важнее, чем провести самому.

— Не попрошу, — говорю я. — Мне нужно только, куда отправить.

— Вот и хорошо, — с облегчением говорит Сомов. — Вот и правильно.

Он убирает запрос в свою сумку, застёгивает и вдруг спрашивает:

— А старый-то конверт куда денете?

Я смотрю на письмо, лежащее на столе.

Можно сжечь. Можно убрать навсегда. Можно носить, как носил, и каждый раз, вытаскивая, чувствовать то же самое.

— Оставлю, — говорю я. — Там факты.

— Какие факты?

— Город. Улица. Мать. Курсы. — Я складываю его по старым сгибам. — Всё, что я знаю о человеке, я знаю оттуда. Оно у меня теперь вроде справки.

Сомов смотрит на меня с некоторым сомнением, но ничего не говорит.

А я убираю письмо обратно в планшет и впервые за три месяца делаю это спокойно. Не как вещь, которую боишься трогать. Как бумагу, из которой сегодня вечером я выписал восемь нужных строк.

Утро приходит с тем особенным светом, какой бывает при тридцати градусах: небо не голубое, а какое-то стеклянное, и снег под ним лежит розовым.

Я иду на стоянку в шесть, и первое, что замечаю, — тишина.

Не мёртвая, а рабочая. Не слышно ни ругани, ни паяльных ламп, гудящих на весь аэродром, ни того особого скрежета, с которым пятеро мужиков крутят винт за лопасть, пытаюсь проверить застывшее.

Слышно, как скрипит снег и как кто-то негромко говорит кому-то: «держи, подвинь, да не туда».

У тринадцатого стоят трое. Чехол уже снят — не сорван, а снят частями, и лежит сложенный на ящике, а не брошенный в снег.

Плешаков стоит чуть в стороне и не вмешивается, и по одному этому видно, как он доволен.

— Докладывайте, — говорю я.

— Масло залито в пять сорок, проворот лёгкий, проверял Кулешов, — говорит Ерохин. — Аккумулятор поставлен в пять пятьдесят, под нагрузкой держит, проверял Никитин. Отстой сливали, банка чистая, я смотрел сам, Ведерников видел.

— Я видел, — подтверждает Ведерников. У него голос выпавшегося человека, и это слышно.

Я лезу в кабину.

Всё то же самое: промёрзший металл, петля под руку, заиндевевшее стекло с процарапанным пятачком. Я делаю то, что делал десятки раз, и делаю без всякого торжества.

Мотор берёт с первой.

Не с третьей. С первой: чихнул, схватил и пошёл ровно, и белый выхлоп ударил в снег и завернулся.

Второй — тоже с первой.

Я сижу и слушаю, как они греются, и позволяю себе десять секунд простой человеческой радости. После пробы глушу оба; люди подходят к капотам только после остановки винтов. Тогда вылезая и я.

— Плешаков.

— Ну?

— Сколько заняло?

Он смотрит на часы.

— От подхода к машине — двадцать шесть минут.

— А вчера?

— Вчера час десять. А позавчера три часа, и не завелась.

Он говорит это ровно, без всякого выражения, и мне хочется его обнять, чего делать, конечно, нельзя.

— Тогда, — говорю я, — забирайте команду и идите к пятой.

— Зачем?

— Затем, что у них ещё не готово, а у нас готово.

Плешаков шуруется.

— Это ты сейчас придумал?

— Это я вчера придумал, — признаюсь я. — Только вчера не сработало бы.

У пятой машины возятся четверо, и у них как раз тот случай, который мы уже знаем: вода. Банка мутная, и они третий час греют и продувают по частям.

Наши приходят и молча включаются.

Ерохин сразу лезет к соединению, Кулешов тащит второй рукав, Ведерников встаёт на подачу.

Никто не устраивает демонстрации. Никто не говорит «а мы уже». Люди просто приходят на чужую стоянку с горячими руками и работают там сорок минут, и в восемь двадцать пятая тоже запускается.

К девяти у нас в строю восемь машин из девяти. Оставшаяся — четвёртая, у которой разбирали обшивку; её я сдвинул сам, и она встанет завтра.

И вот теперь — главное.

В девять я иду в каптёрку и говорю Анне Петровне:

— Ночным завтрак придержите до подъёма.

— Так они спать пошли.

— Вот именно, — говорю я. — Спать. Никого сегодня к моторам не дёргаем.

Она смотрит на меня подозрительно.

— А если чего?

— А если чего, есть дневные, и их сегодня хватает.

В столовой, куда после шитья перенесли со скамей ткань и остатки чехлов, в девять утра происходит невиданное: люди сидят и едят.

Едят не на ходу, не по очереди в три смены, не глядя каждые тридцать секунд на дверь.

Дверь, конечно, открывается. Она всегда открывается.

Входит посыльный из штаба, оглядывает землянку, находит взглядом Плешакова.

— Товарищ воентехник...

И вот тут я поднимаюсь.

— Что?

— Так там на пятой...

— На пятой запустились в восемь двадцать, — говорю я. — Сам видел. Что ещё?

Посыльный мнётся.

— Там спрашивают, можно ли сегодня ещё одну проверить.

— Можно, — говорю я. — Дневной сменой. Плешаков сидит и ест, и Ерохин сидит и ест, и Ведерников спит, и до обеда их никто не трогает.

— А если товарищ майор спросит...

— А товарищу майору я сам доложу, — говорю я. — Через полчаса.

Посыльный уходит.

В землянке становится тихо, и в этой тишине кто-то из молодых тихо, но отчётливо говорит:

— Ишь ты.

И все начинают есть дальше.

Плешаков придвигает ко мне кружку с кипятком, в котором плавает что-то вроде заварки.

— Иванов, — говорит он.

— Да?

— Ты понимаешь, что это первый раз?

— Что — первый раз?

— Что у меня утром восемь машин и все мои люди в тепле. — Он дует на кипяток. — Я в этой армии с тридцать девятого. У меня такого не было ни разу.

— Будет ещё, — говорю я.

— Не каркай.

Я пью кипяток и смотрю на землянку: двадцать человек, пар от мисок, мокрые чехлы сохнут на верёвке у печки, Федя строгаёт очередную деревяшку про запас, Тимка спорит с кем-то о частотах, Литвинов сидит с картой и водит по ней карандашом, как водил вчера и позавчера.

Восемь машин опробованы и укрыты чехлами на стоянке.

Это ещё ничего не значит. Цель не подтверждена, снимка нет, погода дрянь, средств против обледенения у нас никаких, а Мария Соколова находится неизвестно где, и запрос до Бугуруслана пойдёт месяц, а может, три.

Но утром тринадцатый завёлся с первой попытки, и не потому, что нам повезло.

Глава 6



Мотор работает, и Плешаков смотрит на него так, будто ему за это не заплатили.

— Ну вот, — говорю я. — С первой попытки.

— С первой попытки у нас теперь восемь подготовленных машин заводятся, — отвечает он. — Ты мне про везение не говори. Везение было в ноябре, когда мы два часа гоняли одну машину и радовались, как дети.

Он идёт вдоль капонира, не глядя на меня, и на ходу тычет пальцем в чехол, свисающий с левой плоскости:

— Убери. Тут не музей.

Моторист сдёргивает чехол, и я вижу под ним крыло — чистое, сухое, без той белесой шершавой шкурки, которая за ночь вырастает на непокрытом металле.

Мороз сегодня градусов восемнадцать, и он честный: сухой, безветренный, с тем скрипом под сапогами, который слышен на весь аэродром. Выхлоп от прогретого мотора стоит в воздухе плотным серым столбом и не хочет расходиться.

Я убираю руки в рукавицы и говорю, обращаясь сразу к обоим:

— Глушите. Больше не греть.

Плешаков подтверждает команду знаком человеку в кабине. Моторист убирает режим и глушит мотор; мы ждём, пока остановится винт.

— Рано сегодня закончил пробу? — спрашивает Плешаков уже в тишине.

— До вылета ещё весь день. Если я тебе разрешу сейчас гонять, ты сожжёшь то, что мне понадобится вечером.

Он смотрит на меня и впервые за утро становится довольным.

— Растёшь, — говорит он. — Ещё бы про свечи вспомнил.

*

В штабной землянке жарко до одури, и от этого все сидят распахнутые и злые.

Разведчик приехал с утра и разложил своё хозяйство на трёх сдвинутых столах: фото-схема, два снимка с двух проходов, снятые с разницей в сорок минут, и наша собственная папка, которую Литвинов ведёт с осени.

Папка старая, работа в ней идёт с октября. Началась она с накладных, снятых береговой группой с выброшенного на мель транспорта, и с того, что специалисты потом вытащили из маркировок на ящиках. Сначала это выглядело как бухгалтерия: куда шли цилиндры, куда шли коки винтов, какие узлы для какой машины. А через месяц, когда наложили это на карту, из бухгалтерии выросло то, что теперь лежит перед нами и называется картой ремонтных зависимостей.

Она некрасивая. Это просто листы с кружками и линиями, и на линиях подписано, сколько чего и куда. Но по ней видно то, чего не увидишь ни на одном снимке: какие аэродромы ремонтируются сами, а какие не летают, если на одном определённом поле остановится мастерская.

— Ольговец, — говорит разведчик и кладёт палец в кружок с четырьмя линиями. — Вот по нему всё сходится. Мы его третий месяц держим как ремонтный, и в ноябре подтвердилось дважды: узлы идут через него, а обратно с него уходят машины, которые потом опознают на трёх других полях.

— Что там по составу? — спрашивает Свиридов.

— Точно не скажу. — Разведчик проводит пальцем по снимку. — По снимку — ангары, два больших и три меньших. Стоянки с южной стороны. Склад с северной, у подъезда.

— А остальное?

— Остальное, товарищ майор, я вам не скажу, потому что не знаю. — Он говорит это спокойно, и мне это в нём нравится. — Я вам могу сказать, что вижу. Вот. Вот здесь у них за последние недели стало больше открытых стоянок. Слишком много.

Литвинов наклоняется над снимком.

Он смотрит долго, правой рукой прижимая край листа. Левой он придерживает другой угол снимка. Кисть за осень окрепла; мелкую работу он по-прежнему бережёт для правой.

— Слишком аккуратно стоят, — говорит он наконец.

— Что?

— Они стоят как на параде. — Он показывает карандашом, не касаясь бумаги. — Одинаковые интервалы, все носом в одну сторону. Живые машины так не стоят. Живые стоят как попало, потому что их подкатывают и оттаскивают.

Разведчик молчит секунду.

— Могут быть макеты, — говорит он.

— Могут быть макеты, — соглашается Литвинов. — А могут быть и машины, которые не трогали три недели, потому что у них нет чем их лечить.

— И что нам с этого? — говорит Свиридов.

— Нам с этого то, — говорю я, — что мы не будем бить по стоянкам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.